

А.Ф. ЛОСЬЕВ
А.А. ТАХО-ГОДИ

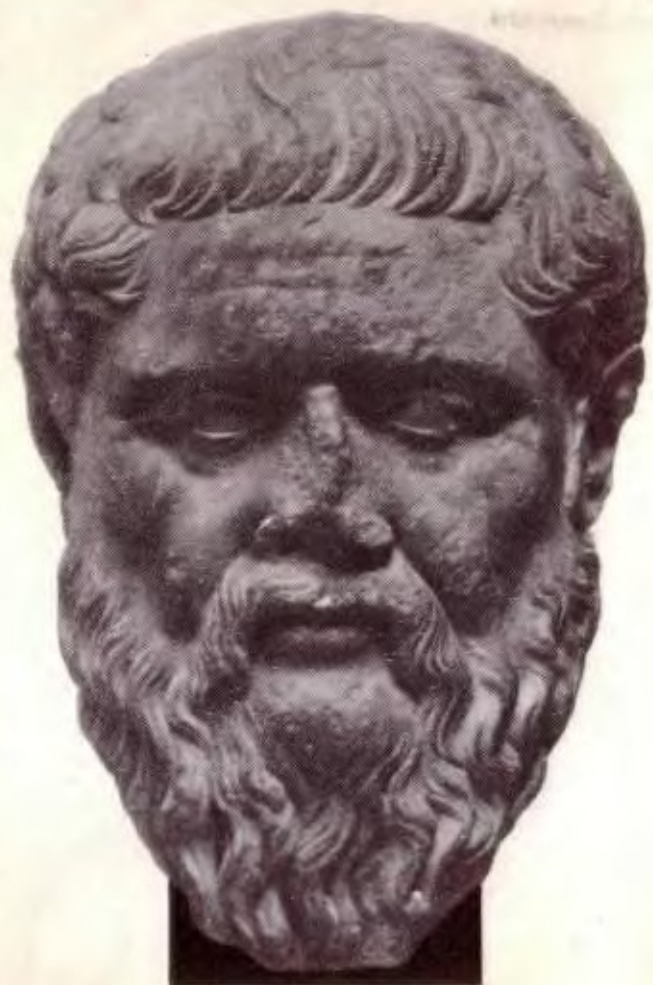


ПЛАТОН

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ







Люди. Время. Идеи

А.Ф. ЛОСЕВ
А.А. ТАХО-ГОДИ

ПЛАТОН

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1977

Оформление
Л. Зусмана

На фронтисписе портрет Платона.
Римская копия с греческого оригинала.
IV в. до н. э.

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.

Л79 Платон. Жизнеописание. Оформл. Л. Зусмана.
М., «Дет. лит.», 1977.

224 с. с фотоил. (Люди. Время. Идеи).

Книга о великом древнегреческом философе Платоне (V—IV века до н. э.).
Авторы — доктора филологических наук, профессора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи.

70803—546

Л—47р—77

М101(03)77

©ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.

ИСТОКИ

Рождение Платона овеяно легендами. Сами греки за мудрость называли его «божественным». Правда, жизнь каждого мыслителя раннего времени почти всегда была связана с удивительными преданиями, которые должны свидетельствовать об избранности и исключительности мудреца, а значит, и об его связях с миром чудес.

Великий Гомер был слеп, но зато наделен даром поэтического вдохновения, заменявшего ему физическое зрение. Мифологические пророки вроде Тиресия были лишены богами зрения, но зато получили от них умение прорицать и внутренним взором видеть будущее. Древний философ должен был совмещать в себе черты пророка и поэта — излагать свои мысли в загадочных стихах, как Ксенофан, Парменид или Эмпедокл, у которых мифология, поэзия и философская мудрость сливались в нераздельное целое. Иные из философов, как Гераклит, прямо осознавали свое пророческое предназначение и пи-

сали «темным» поэтическим языком символов, которые надо было толковать так же, как толковали изречения оракула. Недаром Гераклита так и называли «темным».

Биографии философов изобиловали удивительными фактами. Полулегендарный Пифагор вел свое происхождение от бога Аполлона, и его почитали как чудотворца. Эмпедокл бросился в кратер огнедышащей Этны, Фалес прославился как один из семи мудрецов. Гераклит был из рода переселившегося в Ионию сына афинского царя Кодра, ходил в пурпуре со знаками царской власти. Демокрит учился у магов, умел предсказывать, умер ста девяти лет от роду, отодвинув свою смерть так, чтобы она не совпала с праздником богини Деметры.

Мы не должны поэтому удивляться античной традиции, единодушно считавшей днем рождения Платона 7 таргелия (21 мая), праздничный день, в который, как гласило предание, родился на острове Делосе бог Аполлон. Более того, племянник Платона, тоже философ, Спевсипп, в не дошедшем до нас сочинении «Похвала Платону» прямо называет Аполлона отцом философа и трогательно изображает мудрых пчел, однажды наполнивших медом рот младенца Платона.

Позднеантичный комментатор сочинений Платона Олимпиодор, используя сюжет Спевсиппа, рассказывает о явлении Аполлона матери философа перед его рождением, а затем о том, как родители отнесли младенца на гору Гиметт, чтобы принести жертву Аполлону, Пану и нимфам. И пока родители занимались благочестивым делом, пишет Олимпиодор, пчелы, которыми славился Гиметт, отложили медовые соты в уста ребенка Платона как предзнаменование его будущего сладчайшего словесного дара.

Как видим, в легендах нет недостатка.

Родился Платон в 428—427 году до н.э.¹, в самый

6 ¹ В дальнейшем слова «до н.э.» при указании года опускаются для плавности текста.



Философ.

Римская копия с греческого оригинала. III в. до н. э.

разгар междоусобной Пелопоннесской войны, губительной и для демократических Афин и для аристократической Спарты, соперничавших в гегемонии над эллинскими государствами — полисами.

Семья Платона и весь его род были тесно связаны с прошлым и настоящим Афин, где история и предания переплетались в трудно различимом единстве. Вполне очевидно, что мальчик рос, сознавая свою непосредственную причастность к важнейшим событиям жизни родного города. Предания рассказывали о предках Платона, ведущих свое происхождение от бога Посейдона и смертной женщины Тиро, чей сын, пилосский герой Нелей, породил вместе с Хлоридой двенадцать сыновей, в числе которых были знаменитый гомеровский мудрец Нестор и его брат Периклимен, участник похода аргонавтов за золотым руном. Потомком Периклимена был Андропомп, а сын его Меланф — отец Кодра, последнего афинского царя, личности уже не столь мифологической, а более исторической. Кодр, изгнанный из наследственной Мессении, был принят в Афинах последним потомком Тесея Тимоентом и получил из его рук царскую власть в благодарность за свою помощь ему в войне.

В царствование Кодра Афины процветали, но началась война, в которой оракулы обещали победу врагам, если они не убьют Кодра. Узнав об этом, Кодр решил пожертвовать собою ради победы своего народа. Он переоделся нищим и тайно вышел из города, будто собирая хворост. Его встретили вражеские солдаты и, когда Кодр стал их вызывать на ссору, убили его. И афиняне и их враги узнали о гибели царя Кодра. Одни с почестями погребли его, а другие спешно отступили от города, где отныне стали править архонты, старейшины. Одним из них был сын Кодра, Медон, потомки которого именовались медонтидами или кодридами. Из этого рода был Эксеkestид, принадлежавший, по словам Плутарха, к первому

поколению государственного деятеля Афин, прославившийся демократическими реформами, соперник и антагонист своего родственника Писистрата, ставшего афинским тираном. От Солона и его родича Дропида вели происхождение мать и отец Платона.

Нам почти ничего не известно об отце Платона по имени Аристон, но родственники Периктионы, матери Платона, все — люди, оставившие след в политической и общественной жизни Афин. Два брата, Каллесхр и Главкон, были внуками Дропида. У Каллесхра был сын Критий, тот, что стал политиком, главой афинских Тридцати тиранов в 405—404 годах. Периктиона — дочь Главкона и двоюродная сестра Крития. Ее младший брат Хармид тоже участник олигархического переворота Тридцати. Мать Платона после смерти мужа вышла вторично замуж за своего дядю Пирилампа, друга Перикла, богатейшего человека и тоже известного политика. Родичем Периктионы был и Леогор, отец знаменитого оратора Андокида.

Таким образом, Платону суждено было вырасти в знатной, старинной, царского происхождения, семье, с прочными аристократическими традициями, сознающей историю Афин как историю своего рода. Государственные дела и политическая борьба яростно захватывали этих людей, и никто из них не умер спокойно в своей постели, дожив до глубокой старости. Они участники войн и государственных переворотов. Но они же талантливые, образованные люди, прекрасные ораторы, поэты, умные и острые собеседники, живо интересовавшиеся философскими вопросами. Юный Платон, как видим, рос в среде, которая должна была предназначить его к политической деятельности и всесторонне его воспитать.

Однако ни Платон, ни его родные братья Главкон и Адимант, ни его сводный брат Антифонт государственными делами не занимались. Все они любили книги, стихи, дружили с философами. Правда, никто из братьев не

снискал такой поэтической славы, какой обладал их предок Солон, или известности драматурга и остроумного стихотворца, каким был их двоюродный дядя Критий, или ораторского мастерства их родственника Андокида. Платон не стал ни поэтом, ни драматургом, ни оратором. Он стал великим философом, сочинения которого, однако, отличались поэтичностью стиля, драматичностью ситуаций и убедительностью ораторской речи.

Платон получил всестороннее воспитание, которое соответствовало представлениям классической античности о совершенном, идеальном человеке, так называемой калокагатии. «Прекрасный» (calos) и «хороший» (agathos) человек должен был соединить в себе физическую красоту безупречного тела и внутреннее, нравственное благородство. Достичь такой «калокагатийности» можно было упражнениями, образованием и воспитанием с малых лет. Калокагатия — идеал, к которому стремился свободнорожденный человек, готовый стоять на страже интересов родного города, защищать его с оружием в руках, соблюдать его законы и прославлять его своими делами.

Идеал совершенного человека издавна воспевался древнегреческими поэтами и писателями. Еще поэтесса Сафо писала: «Кто прекрасен, одно лишь нам радует зрение; кто же хорош, сам собой и прекрасным покажется», подразумевая силу внутренней, духовной красоты человека, без которой внешняя телесная красота бессмысленна и бессодержательна. Гармония внешнего и внутреннего не означала скучного однообразия прописных добродетелей. Наоборот, разные и как будто противоречащие друг другу свойства характера или интересы человека только и создавали истинную гармонию. Недаром философ Гераклит (VI—V вв. до н. э.) писал, что «скрытая гармония сильнее явной», а «расходящееся сходится, и из различных тонов образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу». В борьбе чувств



Различия по дереву.

Расписи чаши. Греция. Первая четверть V в. до н. э.

и страстей, привязанностей и пристрастий вырабатывался в конце концов тот мудро уравновешенный человек, что заслужил, по словам поэта Симонида Кеосского (VI—V вв. до н. э.), название «четырехугольного», то есть человека, у которого равномерно развиты все способности. Философ Фалес (VII—VI вв. до н. э.) сказал: «Мера — наилучшее». Добиваться этой великолепной соразмерности можно только усердным воспитанием и закалкой, ибо, по словам одного из легендарных семи мудрецов Питтака, «благородным быть нелегко».

Граждане Афин, города, славного своими демократическими традициями, ценили калокагатию, доступную, как считалось, каждому свободнорожденному человеку, и видели ее образцы в Солоне, Перикле или Софокле, который писал трагедии, выступал в театре, пел, танцевал, был хорошим музыкантом и даже (правда, не очень удачливым) военачальником, стратегом. Однако ценить идеал еще не означало следовать ему в жизни. Путь к идеалу был труден и долог.

Платон с детства воспитывался в духе прославленной калокагатийной гармонии, не уступая ни предкам, ни современникам. Он брал уроки у лучших учителей. Грамоту ему преподавал известный Дионисий, музыку — Дракон, ученик Дамона, обучавшего самого Перикла, и Метелл из Агригента, гимнастику — борец Аристон из Аргоса. Считают, что этот выдающийся борец дал своему ученику Аристоклу, названному так по имени деда с отцовской стороны, имя «Платон» то ли за его широкую грудь и мощное сложение, то ли за широкий лоб¹. Так исчез Аристокл, сын Аристона, и в историю вошел Платон.

Юноша занимался живописью и научился понимать

12 ¹ Греческое *platys* — широкий, широкоплечий; *platos* — ширина, *platoō* — делаю широким.

то великолепие красок, которым прославятся его будущие произведения. Он сочинял трагедии, изящные эпиграммы, возвышенные дифирамбы в честь Диониса, с именем которого связывали происхождение трагедии, и пел, хотя не отличался сильным голосом. Особенно он любил комических писателей Аристофана и Софрона, что давало повод и ему самому сочинять комедии, учась у своих любимцев правдивому изображению действующих лиц. Подобные занятия ничуть не мешали Платону, как говорят, участвовать в качестве борца в Истмийских общегреческих играх и даже получить там награду.

Мы являемся обладателями приписываемых Платону двадцати пяти эпиграмм, живописных миниатюр, запечатлевших мгновение быстротекущей действительности.

Вот одна из них, посвященная Пану, богу лесов и покровителю стад.

Тише, источники скал и поросшая лесом вершина!
Разноголосый, молчи, гомон пасущихся стад!
Пан начинает играть на своей сладкозвучной свирели,
Влажной губою скользя по составным тростникам.
И, окружив его роем, спешат легконогие нимфы,
Нимфы деревьев и вод, танец начать хоровой.

(Пер. А. Блуменау)

Спящему Эроту, богу любви, Платон посвятил следующие гексаметры, которые придали мирной картине сна малютки-бога вполне идиллический характер.

Только в тенистую рощу вошли мы, как в ней увидали
Сына Киферы, малютку, подобного яблокам алым.
Не было с ним ни колана, ни лука кривого, доспехи
Под густолиственной чащей блестящих деревьев висели.
Сам же на розах цветущих, окованных негою сонной,
Он, улыбаясь, лежал, а над ним золотистые пчелы
Роем медовым кружились и к сладким губам его льнули.

(Пер. А. Блуменау) 13

Читая диалоги Платона, можно найти прекрасные поэтические зарисовки природы. Здесь мирно журчит ручей, зеленеет густая трава, а под широколиственным платаном, рядом с священным изображением богов, идет неторопливая беседа о смысле любви («Федр»). А то — жаркая дорога под полуденным горячим солнцем, ведущая усталых путников к святилищу Зевса через тенистые лужайки и рощи стройных кипарисов. Путники, как всегда у Платона, философствуют, размышляют о лучшем законодательстве («Законы»). Если принять во внимание, что стихи писались Платоном в юности, «Федр» в годы расцвета, а «Законы» на пороге смерти, то можно с уверенностью сказать, что все эти картины созданы рукой и вдохновением одного и того же мастера, так что вряд ли стоит сомневаться в принадлежности Платону целого ряда изящных эпиграмм.

Перед нами счастливая жизнь Платона, благополучного молодого человека, но этой безмятежности неожиданно наступает конец.

Платон встречается в Афинах, своем родном городе, Сократа, мудреца и философа. Потрясенный встречей с Сократом, Платон сжигает все, что он до этого сочинил, по преданию, призывая на помощь самого бога огня Гефеста. С этой минуты для Платона начался новый период жизни.

Как всегда в древности, и здесь родились легенды. Рассказывали, что перед встречей с Платоном Сократ видел во сне у себя на коленях молодого лебедя, который, взмахнув крыльями, взлетел с дивным криком. Лебедь — птица, посвященная Аполлону. Сон Сократа полон символов. Это предчувствие ученичества Платона и будущей их дружбы.

ВМЕСТЕ С СОКРАТОМ



Кто же такой был этот Сократ, вызвавший решительный перелом в жизни Платона? Не в пример аристократу Платону, Сократ был самого простого происхождения. Родился он около 469 года. Отец его — каменотес Софрониск из дема¹ Алопеки, а мать Фенарета — повивальная бабка.

Уже в пожилом возрасте он женился на некоей Ксантиппе, имел троих детей, однако не заботился о житейских благах, не занимался никаким ремеслом, но зато был подлинным философом, а именно «любителем мудрости» и искателем истины.

Сведения о Сократе чрезвычайно противоречивы. Сам он никогда ничего не писал, а лишь беседовал

¹ Аттика была поделена Клисфеном (VI в. до н. э.) за 10 административных округов — фил, каждая из которых в свою очередь делилась на 10 более мелких единиц — демов.

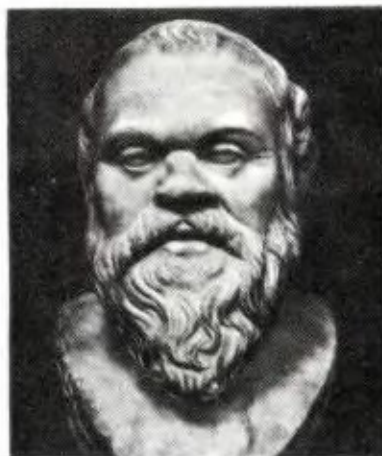
с людьми, задавая вопросы собеседнику и наводя его на правильный путь. Но вокруг Сократа всегда были друзья, участники его бесед, молодежь и старики, называвшие себя часто его учениками, хотя сам он их таковыми не считал, так как философской школы в строгом смысле слова он не возглавлял и не имел. Сократ был задирист, остроумен, беспокоен, насмешлив и не считался с положением, богатством, связями и общественной значимостью своих собеседников. Деньги он презирал и осмеивал так называемых «учителей мудрости», софистов, которые обучали красноречию молодежь большей частью из состоятельных семей и брали за это огромную плату, что было удивительно для афинян, не считавших философию ремеслом, нуждающимся в денежном вознаграждении.

Сведения о Сократе дошли до нас из самых разнообразных источников. Здесь есть свидетельства таких младших современников Сократа, как знаменитый комедиограф Аристофан; верных учеников Сократа — историка и философа Ксенофонта и самого Платона. Сведения о Сократе дают нам так называемые сократики, слушатели Сократа, которые сами впоследствии основали новые философские школы, — Эвклид из Мегары, Федон из Элиды, Антисфен Афинский, Аристипп из Килены. Немногие, но важные замечания об идеях Сократа находят у Аристотеля, ученика Платона.

Аристофан в комедии «Облака», поставленной в 423 году, изобразил Сократа в виде забавного персонажа, главы некоей подозрительной школы софистов «мыслительниц», обманщика и выдумщика, изобретателя новой религии и новых богов, какими здесь являются облака. Эта безжалостная пародия Аристофана до некоторой степени отражала неясные слухи, бродившие среди необразованных и жадных до новостей афинских обывателей. Но вместе с тем пародия свидетельствовала о славе Сократа и его широкой известности. Попасть в комедию знаменитого Аристофана, на подмостки театра, мог только

Сократ.

Римская копия с греческого оригинала. IV в. до н. э.



очень популярный человек, обладавший огромным влиянием на людей. Во всяком случае, Сократ — завсегдатая улиц, рынков и дружеских собраний, бедно одетый, босой, небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом, толстыми губами и шишковатым лбом, лысый, напоминал собою комическую театральную маску. Его загадочная манера разговаривать доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронически приводила в смущение собеседника, который вдруг осознал себя ничтожным, глупым, растерянным. Вопросы Сократа о том, что такое красота, справедливость, дружба, мудрость, храбрость, заставляли задумываться людей не только о философских понятиях, но и о жизненных ценностях. Сократ разъяснял предназначение человека в обществе, его обязанности, его взаимоотношения с законами, необходимость почитания богов, образования, приобретения друзей, воздержания от грубых страстей — то есть практическую ориентацию в жизни для человека, руководствующегося совестью, справедливостью и гражданским долгом.

Казалось бы, весь круг вопросов должен был иметь

огромное воспитательное значение. Но сократовский идеал человека — скромный бессребреник, живущий по совести, — только раскрывал перед большинством их пороки и низменные стремления, так и оставаясь недостижимым. Обличение богатства, гордости, честолюбия вызывало гнев и даже ненависть к Сократу, который заставлял людей признать свое полное ничтожество. Сил же преодолеть недостатки и начать какую-то иную жизнь хватало не у всех. И те, кто ощущал свое бессилие, в глубине души осуждали человека, который разбудил их совесть, доказал их невежество, смутил их покой, лишил уверенности в своих силах и посеял сомнение в давно установленных традициях.

Немногие шли за Сократом, и часто это были молодые люди из богатых и знатных семей, пресыщенные именно материальными благами, возмущившиеся против родительского и государственного авторитета и мечтавшие о быстрых и радикальных преобразованиях в обществе. Как это ни парадоксально, некоторые молодые друзья Сократа вовсе не собирались постепенно воспитывать и образовывать «среднего» человека или вразумлять и наставлять «лучших» — богатых граждан. Путь убеждения был слишком долг и требовал великого терпения. А вот взнудать знатных и подавить «большинство», то есть держать народ в беспрекословном послушании идеальному законодательству, казалось им проще и доступнее. Так, политические деятели Критий и Алкивиад, искавшие мудрости у Сократа, были участниками антидемократических переворотов, стремились к олигархии, власти немногих, к тому, что тогда называли тиранией, тем самым предавая идеи Сократа и действуя вопреки им. Философы, и прямые ученики Сократа и его истолкователи, тоже зачастую вступали в противоречие с самыми любимыми мыслями своего учителя.

Так, основатель киинической школы Антисфен и его ученик Диоген пришли к выводу о духовной свободе

человека, лишенного не только имущественных благ, но и твердых семейных уз, моральных традиций, общественных обязанностей, так как все это подчиняло человека несправедливому государственному законодательству, делящему людей на свободных и рабов.

Аристипп из Килены искал высшее благо в освобождении человека от тягот жизни, в отдаче себя стихии бескорыстных наслаждений. Эвклид Мегарский настолько оторвал человека от материального мира, что признавал истинное бытие только в идеях. Федон, основатель пифагоро-эретрийской школы, довел до предела мастерство философского спора, предпочитая этические проблемы, но одновременно отличался религиозным свободомыслием. Таким образом, каждый из учеников Сократа односторонне развил те или иные идеи учителя, выдвигая то сугубо теоретические, то жизненно-практические тенденции.

Сам же Сократ, если судить о нем по всей этой мозаике сведений, дошедших от его прямых учеников, предстает в чрезвычайно противоречивом виде. В воззрениях Сократа уживаются критика власти большинства (демократии) и почитание законов, беспрекословное выполнение гражданского долга. Ирония и сомнение у него — рядом с глубокой верой в добрую основу человека. Стремление к идеальному бытию ничуть не мешает ему в земной дружбе и веселых пиршественных беседах. Вера во внутренний голос, «даймон», совесть, отвращающую от недостойных поступков, уживается с верой в навязанные мифы о загробной судьбе человеческой души. Сознание своего ничтожества неразрывно у Сократа с твердым убеждением в собственном предназначении к высокой цели, ведь Дельфийский оракул назвал его мудрейшим из греков.

Может быть, не так уж неправ Аристофан, который пародийно обобщил колоритно-противоречивую фигуру бродячего мудреца, доведя до абсурда те стороны его

характера и его стремления, которые так поражали каждого добропорядочного афинского гражданина, привыкшего к налаженной и освященной временем системе отношений между людьми, между человеком и богами, человеком и отеческими законами.

Еще более интересный образ Сократа встает перед нами, если судить о нем по главнейшим источникам — воспоминаниям Ксенофонта и диалогам Платона. Их книги открывают нам того Сократа, который стал живой легендой. А так как Ксенофонт и Платон были верными друзьями своего наставника и соперничали между собой, в течение всей жизни обращаясь к памяти Сократа, то их сочинения, дошедшие до нас не во фрагментах, а, наоборот, с удивительной полнотой, являются подробнейшим жизнеописанием их общего учителя и друга.

Ксенофонт создал свой идеал Сократа — моралиста, настойчивого, упорного, но несколько надоедливое говоруна, приводившего всех в смущение своей безупречной логикой. Платоновский Сократ — живой, задорный, любитель застольных бесед, фигура одновременно трагическая и забавная, редкостное сочетание аскетического мудреца и насмешника.

Не будем чересчур критичны, уличая в несоответствиях и противоречиях авторов сочинений, где главным действующим лицом является Сократ. Даже если они преувеличивали одни его черты и умаляли другие, даже если они что-то сознательно опустили, а что-то сознательно выдвинули, более того, даже если они творили живую легенду, благочестиво веря, что она и есть единственная настоящая, понятая ими истина, — они, эти авторы, Ксенофонт и Платон, знали Сократа, общались с ним, записывали на свой страх и риск его мудрые изречения и характерные словечки. Они были современниками, а не потомками, которые хотят, как мы, например, понять настоящего Сократа через две тысячи четыреста лет после его смерти и строят свои домыслы на уровне

познейших методов философских и филологических разысканий, зачастую полагаясь на авторитет электронно-вычислительной машины.

Не будем гиперкритиками, ибо даже легенда всегда отражает стремления и чаяния человека определенной эпохи, ибо миф всегда в своей основе имеет зерно истины. Сократ — человек, еще при жизни ставший мифом и легендой. Но если такая легенда и такой миф способствовали появлению философа Платона (и в дальнейшем Аристотеля) и стали центральным ядром всех его многочисленных сочинений, то мы должны только быть благодарными стремлению человечества к поэтическому вдохновению и к вымыслу, которые заставляют потомков задумываться и трепетать, переживая как свое, близкое и родное, события тысячелетней давности.

Отвлечемся от ученых скептиков и последуем за творимой Платоном и Ксенофонтом легендой.

Деятельность Сократа (вторая половина V в. до н. э.), и эпоху расцвета афинской демократии после победы над персами (первая половина V в. до н. э.), была обусловлена огромным интересом к человеку, к человеческой личности. Расцвет наук, искусств, философии, духовного свободомыслия и сознания силы и независимости отдельной личности прекрасно выражен в древнегреческой трагедии. В драматургии Эсхила, Софокла, Еврипида явился современный им человек, вступивший в конфликт с древними традициями и религиозными установлениями. Давно прошли времена, когда человек не мыслил себя вне родового коллектива и признавал себя как часть великой матери-природы, участвующей в вечном круговороте жизни и смерти. Философы VI—V веков до н. э., которые учили о бытии, раскрывая тайны природы, и сочиняли поэмы и трактаты под одним общим для всех названием «О природе», постепенно, и вначале достаточно робко, переходили к проблемам этическим. Природа была вне морали, и древние считали мерилом

всего именно соответствие человеческих поступков законам природы.

Но гражданин греческого полиса VI—V веков до н. э. жил по законам своего государства, вырабатывая идеал, критерием которого была именно полисная калокагатия. Ко второй половине V века до н. э., когда резко возросли противоречия уже не между греками и чужеземцами-персами, а между самими греческими городами-государствами, жаждущими новых земель, денежных богатств и рынков сбыта, — возросла роль инициативы отдельного человека, предприимчивого, деятельного, образованного, сильного в знании законов и судебных тонкостей. Вот тут-то и появились софисты, платные учителя мудрости, считавшие, как и их глава Протагор, человека мерой всех вещей, центром общественной жизни и венцом природы. Оказалось, изворотливая мысль часто сильнее оружия, особенно если владеешь искусством спора — эристикой¹ и умеешь мастерски «неправое дело выставить правым, а более слабые аргументы выставить сильными». Эристике учили за большие деньги софисты — Протагор, Горгий, Продик, Гиппий и другие. Красноречие, риторика оказались главнейшими науками. С хитростями софистической риторики, так называемыми софизмами, мог познакомиться каждый за установленную мзду.

Правильное, закономерное на первых порах стремление софистов изучить механизм логической, убедительной мысли и тем самым дать человеку в руки важное оружие в превратностях частной и общественной жизни постепенно перешло в увлечение внешними словесными эффектами, в беспредметную риторику. Главное то, что для софистов человек был мерилom всей окружающей жизни, значит, он мог в своих личных, часто корыстных

целях действовать без всякого ограничения, невзирая на мораль. Все было позволено, и все моральные нормы оказывались относительными, зависящими от того, как воспринимает их софистически воспитанный человек. Софистов, у которых многие постигали мудрость красноречия, стали недолюбливать и даже высмеивать, тем более что многие политические деятели афинской демократии, уже потерявшей свое здоровое, крепкое начало и пустившейся в военные авантюры, были учениками софистов и ловко обманывали доверчивый народ. На этом фоне всеобщего увлечения неограниченными способностями и возможностями человека, умеющего мастерски выражать свои мысли и быть непобедимым в доказательствах и спорах, Сократ должен был сыграть заметную роль.

В молодости Сократ работал вместе со своим отцом и его даже считали неплохим ваятелем. Годом к двадцати пяти он отправился набираться софистической премудрости к Продику Косскому, своему ровеснику, софисту, который, в отличие от своих сотоварищей, придавал большое значение моральным принципам, занимался философией языка, изучая многообразие смысловых значений слова. Возможно, что увлечение красноречием привело молодого Сократа к знакомству с Аспазией, супругой Перикла, прославленной красотой и любовью к философии. Через многие годы Сократ вспоминал, как учился риторике у Аспазии и за свою забывчивость едва ли не получал от нее оплеухи. Он даже припомнил и пересказал речь, которую сочинила Аспазия для Перикла на погребении погибших воинов-афинян. Увлечение риторикой было неразрывно у Сократа с занятиями музыкой, которой его обучали Дамон, наставник Перикла, и Конноп. А музыка в свою очередь вела к математике и астрономии. Сократ брал уроки у Феодора из Кирены, ученого геометра, астронома и музыканта. Метод беседы, основанный на вопросах и ответах, так называемая диалек-

тика, столкнул Сократа с удивительной женщиной, Диотимой, жрицей и пророчицей, которая, по преданию, даже отсрочила на десять лет нашествие чумы в Афины. Эта образованнейшая женщина поразила Сократа гибкостью ума и тончайшей логикой. Не приходится удивляться тому, что женщины сыграли важную роль в оттачивании словесного мастерства Сократа. Греция издавна славилась своими поэтессами, такими, как Сафо (VII—VI вв. до н. э.) и Коринна (VI—V вв. до н. э.).

Платон писал:

Девять на свете есть муз, утверждают иные. Неверно!
Вот и десятая к ним — Лесбоса дочь, Сафо.
(Пер. В. Вересаева)

Коринна обучала поэтическому мастерству знаменитого поэта Пиндара. Известны женщины-философы Феано, Тимиха, Аристоклея. На склоне античности прославилась женщина—философ и выдающийся математик Гипатия.

Было предание о том, что в ранней молодости, чуть ли не двадцатилетним юношей, Сократ встретился с философом Парменидом, знаменитым основателем элейской школы, автором поэмы «О природе», учившим о целостном, едином, неподвижном бытии, которое познаваемо пытливым мышлением человека и никогда не может стать «ничем», «небытием», «непознаваемым».

Говорят, что Сократ слушал Архелая, ученика знаменитого Анаксагора (V в. до н. э.). Оба они, как и Аспазия, были родом из городов Ионийского побережья, где зародилась древнегреческая философия, наука и поэзия. Архелай открыл в Афинах школу. Его называли «фисиком», или «физиологом», то есть исследователем космологии и бытия как совокупности разнородных элементов природы, земли, воды, огня и воздуха, что, правда, к этому времени уже считалось несколько устаревшим. Анаксагор выдвинул на первый план космический

Ум, управляющий Вселенной. Этот Ум, или, как его называли греки, Нус¹, выполнял все главные функции, которыми раньше наделялась природа. В философском отношении мира тем самым открывался путь к высокому предназначению человеческого ума и всеильности мысли вообще.

Анаксагор был очень популярен в Афинах в годы деятельности Перикла и, хотя по возрасту был почти ровесником Перикла, обучал его философии. Анаксагора, Перикла и Аспазию связывала тесная дружба. Был он близок и с драматургом Еврипидом. Анаксагор считался периодичным вольнодумцем. Книги, в которых он отрицал божественную природу небесных светил, можно было изучить, заплатив самое большее драхму, и молодежь ими увлекалась. Сократ, пытливый в познании интеллектуальных и душевных способностей человека, вряд ли упустил возможность поучиться у Анаксагора.

Сократу запомнился на всю жизнь судебный процесс против Анаксагора, затеянный ревнителями старинного благочестия и врагами Перикла. Такого еще никогда не видали Афины. Анаксагора судили за философское вольнодумство. Судьи внесли предложение «считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет научным образом небесные явления». Периклу пришлось встать за Анаксагора, которому угрожала смертная казнь, как всякому, кто был уличен в религиозном «бесчестии». Только благодаря заступничеству Перикла Анаксагор избежал казни. Он был изгнан из Афин, поселился в Лампсаке и умер там в 428 году, когда Сократу исполнилось сорок лет.

Увлечение философией и проблемами смысла жизни отнюдь не мешало Сократу неукоснительно выполнять

¹ Греческое nous — ум.

свой долг перед родиной. В Пелопоннесскую войну он участвовал в осаде Потидеи (432—429 гг.), в сражениях при Делии (424 г.) и Амфиполе (422 г.), где вел себя достойно и мужественно.

Сократ настолько погрузился в размышления и созерцания идей, что, как пишет Платон, в лагере под Потидеей однажды простоял неподвижно на одном месте весь день и всю ночь до рассвета на удивление людям. В сражении при Потидее он будто бы спас жизнь Алкивиаду. Когда войско отступало, он с большим самообладанием пробивался вместе с известным своей храбростью военачальником Лахетом, так что даже издали было видно, что этот человек стоит за себя.

Но вот однажды произошел случай, изменивший до толе размеренное течение жизни философа.

Херефонт, один из ближайших и пылких друзей Сократа, отправился в священный город Дельфы к оракулу Аполлона и спросил бога, есть ли на свете кто-нибудь мудрее Сократа. Ответ пифии предания толкуют по-разному. Или пифия изрекла, что никого нет мудрее Сократа, или же она сказала: «Софокл мудр, Еврипид мудрее, Сократ же — мудрейший из всех людей».

Такое признание исключительной мудрости у человека, который говорил о себе: «Я знаю то, что я ничего не знаю», глубоко на него подействовало. Сократ стал будто одержим идеей учить своих сограждан истинному знанию, так как считал, что есть «одно только благо — знание, и одно только зло — невежество».

Так, уже в возрасте сорока лет Сократ почувствовал в себе призвание учителя истины. Но за пределы Афин он не выезжал, если не считать поездки с Архелаем на остров Самос или в священные Дельфы и на Истмийский перешеек.

Слава Сократа превзошла популярность софистов. Те учили искусству спора ради самого спора, невзирая на истину, часто даже нарочито противореча ей и черное

делаая белым. Софисты эффектно демонстрировали свою ученость, отнюдь не отличаясь глубиной познаний, но зато они открыто восхваляли себя, как Гиппий из Элиды или Фразимах, горделиво важничали, как Протагор или Горгий, окруженные учениками и поклонниками.

Сократ тоже вечно был среди любопытных почитателей, друзей и учеников. Но он учил бескорыстно, сам подавая пример скромности в житейском обиходе. В беседе он поглубже запрятывал свое знание предмета и внешне казался ровней какому-нибудь неопытному собеседнику, заодно с которым он пускается в поиски истины. Сократ не был спорщиком, как софисты, — он был диалектиком, мастером выяснять суть предмета посредством вопросов и ответов в непринужденной беседе (греческое *dialegomai* — «беседую»). Столкновение мыслей, отбрасывание ложных путей, постепенное приближение к правильному знанию Сократ шутя называл повивальным искусством (по-гречески майевтикой), духовным рождением идеи, вспоминая, наверное, ремесло своей матери.

К Сократу шли те, кто искренне пытался докопаться до истины, но шли и любопытные, привлеченные его славой. Здесь были и старые и молодые. Сократ дружил с философами-пифагорейцами, своими однолетками Симмием и Кебетом. Надежнейшим другом был его сверстник Критон, совсем уже не философ, а просто добрый и благородный человек. У него были друзья в разных концах Греции, в Фессалии, Фивах, Мегаре, Элиде. Эпиклад из Мегары во время войны пробирался в Афины по ночам под страхом смерти, чтобы послушать Сократа. Федон из Элиды, попавший в плен и обращенный в рабство, был выкуплен при содействии Сократа и стал его ближайшим учеником. Иные, как Херефонт, Аполлодор, Антистен, Аристодем или Гермоген, были восторженными поклонниками Сократа, готовыми ради него бросить все блага жизни.

Херефонт всюду прославлял мудрость Сократа, 27



Сцены из школьной жизни.
Роспись килика. Греция. 480 г. до н. э.

признанную самим Аполлоном, Гермоген изнывал от любви к высокой нравственности и неотступно следовал за Сократом, презирая отцовское богатство и впад в бедность. Аполлодор и Антисфен не отходили от Сократа, явив за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает. Аристодем, маленький, босоногий, один из самых пылких почитателей Сократа, часто сопровождал его на философские беседы, надолго сохраняя в памяти все, что там говорилось, чтобы потом пересказать это всем, кто интересовался жизнью учителя.

Ксенофонт, писатель, философ, историк, познакомился с Сократом оригинальным путем. Сократ однажды якобы встретил Ксенофонта и загородил ему дорогу палкой, спросив его, где продаются съестные припасы. На ответ Ксенофонта он вновь задал вопрос: а где люди делаются добродетельными? На молчание Ксенофонта Сократ властно приказал: «Иди со мною и учись». Вот почему, когда Ксенофонту надо было ехать в Малую Азию военачальником к персидскому царевичу Киру Младшему, он советовался не с кем иным, как с Сократом, который и направил его в Дельфы к оракулу Аполлона.

С Сократом искали дружбы заносчивые аристократы вроде Алкивиада, Крития или Калликла, а македонский царь Архелай пригласил Сократа к своему двору, на что получил отказ. Сократ отклонил и приглашение Скопаса и Еврилоха, владетелей Фессалии и Лариссы.

Сократ был общительным человеком. Он проводил дни то в гимнасии¹, то в палестре², то на агоре³ или за пирышественным столом. И всюду он беседовал, поучал, да-

¹ Гимна́сий — учреждение в Древней Греции, где молодежь получала всестороннее воспитание, занимаясь физическими упражнениями, изучением философии, политики, литературы.

² Пале́стра чаще была при гимнасии. В ней мальчиков обучали борьбе, гимнастике, плаванию и др.

³ Аго́ра — так у древних греков называлось народное собрание и место, где оно происходило (обычно городская площадь).

вал советы, выслушивал. Иной раз в городе появлялась какая-нибудь приезжая знаменитость, и Сократ спешил, чтобы встретиться и поспорить. Так, в 432 году в Афины вторично приехал Протагор, самый непреклонный и острый из софистов, книги которого потом сожгут в Афинах, а он сам, обвиненный в вольнодумстве, будет вынужден бежать в Сицилию и погибнет во время бури. Платон расскажет в одном из своих диалогов («Протагор»), как в доме богача Каллия, где остановился Протагор, собрались известнейшие афиняне и знаменитые софисты. Здесь Сократ храбро и иронически спорил с Протагором, окруженный враждебными софистами и любознательной молодежью: тут были Алкивиад, Критий, сыновья Перикла, Агафон. Еще год остался до Пелопоннесской войны, в самом начале которой умрут от чумы Перикл и оба его сына.

Сократ, по преданию, жил такой строгой и скромной жизнью, что в страшную эпидемию чумы 429 года, когда вымерли или ушли из города тысячи людей, он не подвергся заразе.

Не все, кто считался другом Сократа, были подлинными друзьями. На пиру у богача Каллия в 422 году, о котором повествует Ксенофонт («Пир»), рассуждая о превосходстве духовной любви и доказывая, что в общении людей самое главное — дружба, Сократ и не подозревал, что сидящий рядом Ликон, известный оратор, через много лет будет в суде требовать его смерти. Ученики Сократа Антисфен и Гермоген и не думали о том, что они будут стоять у смертного ложа их учителя. А пока они оживленно перебрасываются словами и с любопытством наблюдают за выступлением приглашенных актеров, искусно изображающих в танце брак бога Диониса и Ариадны, слушают флейтистку и кифариста, внимательно следят за ловкими движениями танцовщицы-акробатки.

30 Пройдет около года, и в доме почтенного Кефала,

описан Афин, в Пирее, как повествует Платон, встретятся спорщики («Государство»). Сократ обсуждает здесь важные общественные проблемы: что такое идеальное государство и как надо воспитывать граждан.

Мы знаем по диалогу Платона «Пир», как те, кто совсем юными встречались с Сократом в гостеприимном доме Каллия, соберутся через много лет, будто бы в 416 году за пиршественным столом¹ у известного трагического поэта Агафона, того самого, который юнком слушал спор Протагора и Сократа.

Но вот наступили трудные времена. Ослабленная неудачами Пелопоннесской войны (411 г.), демократия потеряла свои позиции в связи с деятельностью Алкивиада и так называемого олигархического совета Четырехсот. Пересматривали конституцию, урезали искинные свободы. И хотя демократия восстановилась в 410 году, но злоупотребление властью вождями отдельных партий, демогогами, вызвало большое недовольство в народе.

Сократ невольно оказался в гуще событий последних лет уходящего V века. И здесь-то в 408 году произошла встреча Сократа и Платона. Мы не знаем подробностей, но она должна была, по всем традиционным понятиям, ознаменоваться каким-то необычным явлением. Сократ предвидел эту встречу в сновидении. Лебедь из его сна — Платон — обрел наконец учителя, которому оставался верен всю жизнь и которого прославил в своих сочинениях, став поэтическим летописцем его жизни. Отныне Платон забросил все свои прежние увлечения — музыку, стихи, палестру, театр и прежние занятия философией, знание которой он почерпнул у Кратила, доведшего до крайности учение Гераклита о текучести всего сущего и приведшего к выводу о недостоверности и относитель-

¹ Греческое слово «symposion» («симпосий») означает «совместное питье», «пир», «пиршественная беседа».

ности знания вообще. Сократ дал Платону то, чего так ему не хватало: твердую веру в существование истины и высших ценностей жизни, которые познаются через приобщение к благу и красоте трудным путем внутреннего самосовершенствования.

Мирные занятия философией не могли продолжаться вдали от политической жизни. Сократу и Платону пришлось вскоре столкнуться с этим непреложным фактом. Правители города пытались восстановить былой порядок и строгое следование законам, обращаясь к религиозному чувству и древним обычаям, но, в погоне за сильной властью, одновременно сами же нарушали демократические традиции. Так Сократ оказался замешанным в трагической истории, происшедшей с афинскими стратегами в 406 году, после сражения при Аргинузских островах.

Афинский флот во главе с десятью стратегами одержал блестящую победу над пелопоннесцами. Однако афиняне не успели из-за поднявшейся бури похоронить своих погибших воинов. Боясь кары, на родину вернулись только шесть стратегов, остальные бежали. Вернувшиеся были сначала награждены за победу, а затем их обвинили как нарушителей отечественных религиозных обычаев. Власти так спешили расправиться со стратегами, желая утешить граждан, что потребовали решить их судьбу в один день и голосовать сразу единым списком, а не обсуждать дело каждого в отдельности. Сократ же как раз в 406 году был избран членом афинского совета Пятисот («буле»), членом которого мог быть каждый гражданин, достигший тридцати лет. Сократ вошел в Совет от своего родного дема Алопеки, входившего в филу Антиохиду. Совет делился на 10 отделений по числу фил. В каждом отделении заседали 50 человек. И в течение примерно 40 дней обязанности поочередно исполняло каждое из 10 отделений. Заседания булевтов именовались пританией, а сами участники сессии пританами. Оказалось, что в момент суда над стратегами Сократ как раз

был в числе пританов, и более того, в самый день суда он явился эпистатом, то есть главою всего Совета на данный день.

Всегда независимый и справедливый Сократ резко воспротивился незаконному поспешному суду без всякого разбирательства. Ксенофонт, современник событий, в своей «Греческой истории» и поздний историк Диодор подробно рассказывают об этом тягостном деле. Чтобы обойти упорство Сократа, решили отложить постановление суда на следующий день, когда Совет возглавил уже другой эпистат. Стратеги были признаны виновными и казнены. Сам же Сократ едва избежал преследований от правящей партии, нарушившей демократические установления. Искатель истинного знания и абсолютной справедливости, Сократ невольно вступал в конфликт и с демократами и с их врагами, не подчиняясь политическим интригам, хотя сам совершенно был неопытен в соблюдении формальностей и даже заслужил всеобщее осмеяние, так как не знал, как надо собирать голоса в Совете («Горгий»).

Необычный поступок Сократа не остался незамеченным. Платон в одном из своих первых произведений — «Апологии Сократа» — расскажет об этой истории, вложив ее в уста самого Сократа.

Но это было только начало. Хотя Сократ уверял всех, что от опрометчивых действий его отвращает внутренний голос, называемый им «даймоном», но как-то получалось так, что «даймон» никогда не запрещал Сократу вступать за справедливость, даже если это грозило серьезным наказанием.

После восстановления демократии в 410 году, когда был вторично изгнан Алкивиад, за которого ратовал приверженец олигархов Критий, самому Критию, чрезвычайно активному политику, тоже пришлось уйти в изгнание в 406 году. Он жил в Фессалии, вел и там политическую игру и вернулся в Афины ярким приверженцем

спартанского военно-аристократического строя. Но в 404 году Критий, некогда слушатель Сократа, переметнувшийся к софистам, сам блестящий софист и остроумный поэт, возглавил государственный переворот. Афинская олигархия, совершившая переворот, получила название власти Тридцати тиранов. Эти Тридцать — верхушка заговорщиков — правили Афинами немногим более года, расправляясь с непокорными — изгнаниями и казнями.

Следуя за Платоном, мы можем установить еще один факт дерзкой самостоятельности Сократа. Опять он оказался пританом афинского Совета и, по требованию Тридцати, в числе пятерых сограждан, исполнявших такие же обязанности, должен был привезти с острова Саламина известного Леонта, чтобы казнить его. Леонт был очень богат, и олигархи стремились завладеть его имуществом. Однако Сократ воспротивился этому приказу, и снова один, в то время как остальные четверо привезли Леонта на гибель. Снова Сократ едва избежал казни. Да от кого? От тех, кого считали его учениками: Крития и Хармида (Алкивиад к этому времени был убит в Малой Азии), давным-давно променявших трудное сократовское правдоискательство на политические интриги. Уж кто-кто, а Платон здесь достоверный свидетель, так как Критий, его двоюродный дядюшка, пытался и Платона втянуть в олигархическую политику, от чего этот последний решительно отказался. Хармид же (ближайший родич — младший брат матери Платона) — тот самый блестящий молодой человек, которого когда-то Сократ уговорил заниматься общественной деятельностью (Ксенофонт «Воспоминания о Сократе»).

К счастью, власть Тридцати была недолговечной и потерпела крах в 403 году. Критий погиб в сражении с Фрасибулом, стратегом и главой афинской демократии; Хармид погиб в том же сражении. Семья Платона лишилась влиятельных родственников. Сократ получил

возможность еще несколько лет провести в дружбе с Платоном.

Может быть, отзвуком событий, выдвинувших самоуверенных аристократов на гребень политической жизни, явился диалог Платона «Горгий», где описывается якобы состоявшаяся в 405 году встреча Сократа со знаменитым софистом Горгием Леонтинским, к этому времени уже глубоким старцем. Здесь же присутствует некий богатый молодой аристократ Калликл, может быть и вымышленное Платоном лицо. Это во всех отношениях «сильный человек», от которого не поздоровится Сократу, когда тот попадет в его руки. Калликл — как бы предчувствие бедственной судьбы Сократа.

Но всему видно, что правдоискательство Сократа уже раздражало сильных людей, и они подумывали, как бы избавиться от надоедливого философа.

Уже после падения олигархов, видимо, в 402 году, как рассказывает Платон («Менон»), Сократу пришлось встретиться с еще одной «сильной личностью» — фессалийцем Меноном из рода владетельных Алевадов, который ввязывается в политическую борьбу персидского царевича Кира Младшего и погибнет в Персии мучительной смертью. Этот Менон не считает добродетелью ни благочестие, ни правду, ни честность, хотя и держится с Сократом пока еще почтительно и скромно. А рядом сидит Анит — богатый кожевник, один из ведущих демократов и враг Тридцати, в ниспровержении которых он активно участвовал. Но, оказывается, этот выдающийся борец с «сильными личностями» мало от них отличается. Он тоже подозрительно смотрит на Сократа, не разбираясь в тонкостях и причисляя Сократа к совратителям молодых софистам. Для него всякое новое веяние вредно и противоречит старым добрым порядкам. Этот догматически мыслящий ненавистник философии ни в чем не уступит Калликлу, когда претворит в жизнь предсказанную Калликлом горестную судьбу Сократа. Анит будет

одним из тех обвинителей, предугаданных Калликлом, перед которыми не сумеет на суде оправдаться Сократ.

Враги Сократа не дремали. Прошло еще три года. В 399 году на Сократа был подан донос, составленный неизвестным поэтом Мелетом, богачом-кожевником Анитом и оратором Ликоном. Формально первым обвинителем был Мелет, но, по существу, главная роль принадлежала влиятельному Аниту, осуждавшему Сократа с позиций узкой консервативной благонадежности и видевшему в Сократе софиста, опасного критика старинных идеалов государственной, религиозной и семейной жизни. В обвинении значилось следующее: «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из дема Алопеки. Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает город, и вводит других, новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание — смерть».

Как рассказывает Платон («Теэтет»), Сократ мирно беседовал с геометром Феодором Киренским и юным Теэтетом, будущим известным ученым и философом, человеком благородным и мужественным. Некогда молодой Сократ с трепетом слушал старика Парменида, теперь он, семидесятилетний старик, напутствовал Теэтета. В конце беседы идет речь о «повивальном искусстве» Сократа, которое он и его мать получили от бога. Она — для женщин, рождающих детей, Сократ — для юношей, рождающих прекрасные мысли. Сократ будто неожиданно вспоминает, что ему надо идти в суд, куда его вызывают по обвинению, подписанному Мелетом.

Однако даже и вызов в суд не помешал Сократу, судя по диалогу Платона «Софист», на следующий день встретиться со своими собеседниками и с помощью своего «повивального искусства» выяснить, а что же собою представляет настоящий софист. Общий вывод был таков:

трате времени и денег. Искусство софиста есть не что иное, как спор ради наживы. Однако вывод, сделанный в тонкой диалектической беседе, для необразованного среднего горожанина ничего не значил. Такой немудрый афинянин, ремесленник или торговец, еще помнил сам, а может быть, слышал от старших о некоем Сократе, которого осмеивали в комедии Аристофана двадцать лет тому назад. Тот Сократ исследовал все, что над землей, и все, что под землей, и был забавным шарлатаном, но очень вредным развратителем молодежи, которую он учил, как в суде ловкой речью обмануть своих кредиторов. Вдобавок старик Сократ поклонялся каким-то неведомым богам, то ли облакам, то ли громам и вихрям. И сам всюду говорил, что внутри него обитает некий «даймон», подающий, когда надо, голос, которого следует беспрекословно слушаться. В довершение всех зол старшее поколение помнит, что за Сократом неотступно ходили Алкивиад, Критий и Хармид и похвалялись, что они-де ученики и друзья мудрейшего Сократа. А уж какие беды обрушили на Афины Алкивиад и Критий и сколько невинных достойных граждан погибло при тридцати — знал каждый. Сократу угрожала серьезная опасность.

Дело с обвинением Сократа получает плохой оборот. Назначается судебное разбирательство. Оно происходит в одном из 10 отделений суда присяжных, или гелии, включавшей 5 тысяч граждан и тысячу запасных, которые ежегодно избирались по жребию от каждой из 10 фил Аттики. В отделении, разбиравшем дело Сократа, было 500 человек. К этому количеству присоединяли при голосовании еще одного присяжного, чтобы число членов суда становилось нечетным.

Сократ должен был явиться в суд и выступить в собственную защиту. Ему предлагал помощь и даже пригласил для него речь знаменитый судебный оратор Лисий. Однако Сократ отказался от подготовленной Лисием

речи, хотя в Афинах принято было даже заказывать специальным ораторам-логографам такие защитительные речи, или апологии. Сократ, привыкший беседовать с людьми разного положения, достатка и образования, решил сам убедить в своей невиновности суд, где мог засесть любой афинский гражданин, достигший двадцати лет, и где обязанности присяжных исполняли горшечники, оружейники, портные, повара, корабельщики, медники, лекаря, плотники, кожевники, мелкие торговцы и купцы, учителя, музыканты, писцы, наставники в гимназиях и палестрах и многие-многие другие, с которыми так привычно на площадях и базарах вступал в разговоры Сократ.

После того как обвинители произнесли свои речи, слово предоставили Сократу. Однако время защитительной речи было строго ограничено, на видном месте установили клепсидру (водяные часы). Платон с болью писал впоследствии, что Сократу надо было так много сказать и оправдаться перед обвинениями двадцатилетней давности, пущенными в ход с легкой руки Аристофана, и перед нынешними обвинителями. Ни одного конкретного, обоснованного обвинения не существовало. Сократу приходилось, как он сам говорил, сражаться с тенями и слухами. Но он прекрасно понимал, что в клевете на него участвуют или люди, ничтожество и невежество которых он вскрывал постоянно, или наивные простаки, идущие на поводу у слухов. Ему удастся во время речи задавать свои обычные иронические вопросы Мелету, и тот отвечает невпопад или молчит. Но Сократ, который так привык убеждать людей не в приобретении денег, а в добродетели, держится достойно и не ищет снисхождения, не надеется разжалобить присяжных своей бедностью, старостью, тремя детьми, которые останутся сиротами. Он уверен в своей правоте, заявляя, что не перестанет и впредь воспитывать граждан. Ничего не скрывая, он рассказывает суду и об оракуле, признав-

шем его мудрейшим, и о таинственном голосе, который удерживал его от недостойных поступков, и о том, как он храбро противился тирании Тридцати, и о том, как он никого специально не обучал и никогда не брал денег. В свидетели он берет своих друзей, с трепетом слушающих его. Здесь старик Критон и его сын Критобул, Эсхин из Сфетта и его отец, Антифон и Никострат. Здесь же Аполлодор со своим братом и сыновьям Аристона, Адимант и Платон. Сократ не просит суд поступиться истиной и нарушить присягу. Он ищет только одной справедливости.

Происходит перерыв в заседании, и присяжные после обсуждения дела выносят обвинительный приговор. Многие раздражены гордостью Сократа, тем, что он не плачет перед ними и не протягивает с мольбой руки. Многие страшатся человека, якобы объявленного Аполлоном мудрейшим, и обладателя какого-то демонического голоса. Другим не по нутру смирение Сократа и его непоколебимость, уверенность в собственной правоте. По свидетельству Платона, за оправдание Сократа был подан 221 голос, а против — 280 голосов. Ему не хватило всего лишь 30 голосов, так как для оправдания надо было иметь минимум 251 голос из 501 количества присяжных. По афинским законам обвинитель, не собравший $\frac{1}{5}$ голосов, должен был заплатить штраф в 1000 драхм (около 250 рублей) и лишался права в дальнейшем подавать в суд жалобы подобного рода. Только наличие, кроме Мелета, двух других обвинителей — Анита и Ликона — обеспечило Мелету необходимое количество голосов. Мелет в своем письменном обвинении потребовал для Сократа смерти. Но опять-таки по афинским законам обвиняемый имел право в свою очередь предложить себе наказание. И Сократ со свойственной ему иронией предлагает для себя, как для старика, много сил отдавшего на воспитание афинских граждан, пожизненный обед на общественный счет в пританее, 39

который предназначался атлетам, заслужившим награду на Олимпийских играх. Присяжные негодуют на эту насмешку и шумят, как они уже не раз шумели во время речи Сократа. А Сократ продолжает. Он готов заплатить штраф в 1 мину¹, а ведь все имущество его оценивается в 5 мин. Но друзья Критон, Критобул, Аполлодор и Платон, присутствующие здесь же, велят ему назначить штраф в 30 мин, чтобы убажить присяжных, и берут на себя поручительство. Они люди состоятельные и надежные, так что деньги будут вовремя внесены.

Суд не удовольствовался штрафом, и присяжные, оскорбленные иронией Сократа, собрали теперь, голосуя за смертный приговор, которого требовали обвинители, уже на 80 голосов больше. Бедняга Аполлодор, плача, сказал Сократу после вынесения смертного приговора: «Мне особенно тяжело, Сократ, что ты приговорен к смертной казни несправедливо». На что Сократ ответил: «А тебе приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо?» Перед вынесением окончательного решения Платон пытался увещевать присяжных. Он уже было взобрался на помост и начал говорить: «Граждане афиняне, я — самый молодой из всех, кто сюда всходил...» — как судьи закричали: «Долой! Долой!»

Еще не хватало почтенному суду выслушивать сына Аристона, ближайшего родича тех, кто верховодил недавно олигархией!

Сократ был спокоен. Он сказал, что природа с самого рождения обрекла его, как и всех людей, на смерть. А смерть есть благо, ибо она дает ему возможность или стать ничем и ничего не чувствовать, или, если верить в загробную жизнь, встретиться со славными мудрецами и героями прошлого. Самое же главное, он готов и в Аиде испытывать его обитателей, кто из них мудр, а кто толь-

ко прикидывается мудрым. Сократ, уважая решение афинян, поручает им своих сыновей, чтобы их направляли по пути добродетели, так, как он сам направлял своих соотечественников. «Уже пора идти отсюда, — закончил он, — мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а что из этого лучше, никому не ведомо, кроме бога».

Тем, кто его осудил, Сократ предсказал приход новых обличителей, которые будут обличать тем тягостнее, чем они моложе. И их обличение несправедливости преизойдет все то, что до сих пор делал Сократ.

Тем, кто казнил Сократа, еще придется дать отчет за нарушение справедливости, и их вскоре постигнет кара тяжелее той смерти, к которой присудили они Сократа.

По преданию, обвинители Сократа испытали на себе его предсказание. Рассказывают, что афиняне, одумавшись, изгнали их из города, лишили их «огня и воды», так что им ничего не оставалось сделать, как повеситься. Потомкам очень хотелось, чтобы возмездие когда-нибудь настигло убийц Сократа. И вот создавалась легенда о том, как Анит, главный подстрекатель и преследователь, был побит камнями и умер в страшных мучениях.

Но что было Сократу до грядущих легенд?

По решению суда Сократа препроводили в тюрьму. О подробностях пребывания там своего друга рассказывает Платон. Приговор не могли привести в исполнение еще целый месяц, так как корабль, посланный с ежегодным священным посольством, феорией, на остров Делос, родину бога Аполлона, еще не вернулся. А казнить во время пребывания на Делосе феории в честь афинского героя Тесея было запрещено. Так и жил Сократ в тюрьме еще много дней в ожидании неминуемой смерти. К нему приходили друзья. Старик Критон убеждал его спастись бегством и найти убежище вдали от Афин, хотя бы в Фессалии, где его уже ожидают. Известные философы-пифагорейцы из Фив, Симмий и Кебет, готовы ока-

затя своему другу помощь и заплатить кому надо. По всему видно, что и сами тюремщики смущены несправедливостью суда и не очень усердны в охране. Ежедневно Сократа навещают преданные ученики. Они собираются вместе у здания суда и, как только откроется тюрьма, входят к Сократу и проводят с ним целый день. Но вот дошли слухи, что корабль с Делоса прибудет на следующий день, и Критон торопит Сократа с решением, так как все подготовлено для бегства. Сократ, однако, непреклонен. Как он может покинуть город, где родился, вырос, где получил воспитание! А отеческие законы? Разве они простят ему это трусливое бегство? И что скажут люди, которых наставлял и вразумлял Сократ? Нет, смерть надо встретить достойно и не противиться злу, которое наносит ему родной город. Нельзя воздавать злом за зло, преступив законодательство и обычаи старины. Отголоски речей, с которыми будто бы обращаются законы к Сократу, звучат в его сердце, и как ни жаль ему старого Критона, но лучший выбор — покорно ждать прибытия священного посольства («Критон»).

Как и предсказывал Сократ, корабль пришел назавтра после беседы с Критоном. Друзья собрались раньше обыкновенного, желая продлить свою последнюю встречу с Сократом («Федон»). Здесь были Федон и Аполлодор, Критобул с отцом, Гермоген и Эсхин, Антисфен и Мексен, Эпиген и Ктесипп; Клеомброт и Аристипп находились в это время на острове Эгине, Платон был болен после тягостных событий. Зато из Фив явились преданные Симмий и Кебет, из Мегар — Эвклид и Терпсион да еще Федонд. Одиннадцать архонтов, надзиравших за тюрьмами, предписали совершить казнь в этот же день. По их приказу с Сократа сняли оковы, в которых он находился все это время, и, сидя на кровати, он с удовольствием растирал затекшую ногу. Здесь же голосила его жена Ксантиппа, держа на руках младшего сына.

42 Сократ просил Крития увести несчастную домой. А сам

мирно беседовал с друзьями о бессмертии души, о ее судьбе в загробном мире, о том, каким прекрасным и сияющим видится ему истинная земля и истинное небо. Сократ убежден, что, выпив цикуту, яд, который принесет ему смерть, он отойдет в счастливые края блаженных. Он совершил в соседней комнате омовение, простился с детьми и родственниками, велел возвращаться им домой. А солнце уже было близко к закату, и появился прислужник Одиннадцати как предупреждение о надвигающейся смерти. И Сократ со свойственной ему иронической благожелательностью даже назвал этого мрачного вестника обходительным человеком, когда тот, по обычаю, попросил у него прощения. Пришел раб вместе с человеком, который держал в руках чашу со смертным ядом. Он дал необходимые наставления. Надо выпить яд и ходить до тех пор, пока не отяжелеют ноги, а потом лечь и ждать, когда яд доберется до сердца и оно затихнет. Сократ не спеша взял в руки чашу и выпил ее до дна легко и спокойно. Вокруг него рыдали друзья, голосил Аполлодор, всем надрывая душу. А Сократ еще пристыдил их. Умирать надлежит в благоговейном молчании. Он сначала ходил, потом лег и уже не чувствовал, как его холодеющее тело ошупывал слуга. И вдруг, когда смертельный холод стал подбираться к сердцу, Сократ неожиданно промолвил свои последние слова: «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте». — «Непременно, — отозвался Критон. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?» Но ответа уже не было. Взгляд Сократа остановился. Критон закрыл ему рот и глаза. Умирая, он как бы выздоровел, и душа его пернулась к вечной жизни, освободившись от земных негод. Вот почему в последних своих словах Сократ вспомнил о жертве, которую приносили богу врачевания Асклепию, дарователю здоровья.

Один в порках истины

Так Платон остался в одиночестве. Но восемь лет дружбы с Сократом не могли для него пройти даром. Для всех учеников Сократа после его смерти началась самостоятельная жизнь. Каждый из них пошел своим путем, развивая те сократовские идеи, которые были каждому из них близки. Некоторые основали свои собственные школы в родных местах, другие оказались на чужбине. Одни переезжали из города в город, обучая молодости наподобие своего учителя, а кто замкнулся в себе, стремясь осуществить заветы Сократа в добродетельной частной жизни. Восемнадцатилетний Федон, любимец Сократа, которого некогда при содействии учителя выкупили из рабства во время спартано-элидской войны, вернулся домой и открыл школу в родной Элиде, где он нашел продолжателя своего дела Менедема.

44 Эвклид и Терпсион обосновались в Мегаре. Там, у Эвклида, нашли приют Платон и другие последователи

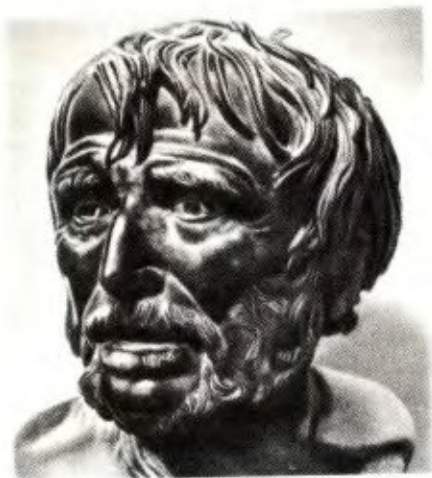
Сократа, уstraшенные действиями афинских властей. Аристипп не довольствовался Киреной и Афинами, но пустился в странствия и нашел место в Сицилии при дворе тирана Дионисия. Там Аристипп повстречал Эсхина из Сфетта, в сочинениях которого буквально оживали речи Сократа. Злые языки говорили, что эти диалоги и тайне писал Сократ, а вдова его Ксантиппа после смерти мужа передала их Эсхину. Эсхин долго бедствовал, пока не обосновался в Сицилии. Антисфен собирал своих приверженцев в окрестностях Афин в гимнасии Киносарга. Впоследствии оттуда философия киников распространилась по всему античному миру. Знаменитый кинический мудрец Диоген из Синопы — ученик Антисфена.

Ксенофонт подружился со спартанским царем и полководцем Агесилаем и был принят в Спарте как почетный гость. Он получил в дар недалеко от Элиды имение Скиллуи, где после бурных событий молодости занимался хозяйством и писал свои знаменитые «Воспоминания о Сократе» и исторические труды. В Афины путь ему был закрыт многие годы из-за его дружбы со спартапцами.

Старик Критон, сидя дома в Афинах, продолжал заниматься философией и, говорят, написал семнадцать диалогов, собранных в одну книгу.

Платон, тяжело перенесший смерть Сократа, никак не мог оставаться в Афинах. Сначала он перебрался в Мегару к Эвклиду, у которого на первых порах собрались ученики Сократа. Они хотели еще раз пережить вместе общее горе, прежде чем всем расстаться и разъехаться по разным городам, чтобы, может быть, больше никогда друг с другом и не встретиться в дальнейшей жизни.

Настоящему философу, по старинной традиции, полагалось набраться мудрости у тех, кто хранил ее с древнейших времен. Значит, надо было отправиться путешествовать по свету, познавая науки, философию, религию и нравы чужеземцев. Здесь наши сведения из античных



Портрет философа.
Греция. III—II вв. до н. э.

источников расходятся. Одни утверждают, что Платон посетил Вавилон, изучая астрономию, и Ассирию, где приобщился великой мудрости магов. Некоторые утверждают, что он даже добрался до Финикии и Иудеи, собирая сведения о законах и религии их обитателей. Большинство сходится на том, что Платон не мог миновать Египта, который поразил в свое время Солона и Геродота. Думается, что в этом предположении нет ничего необычного, тем более что Египет был совсем рядом и греки то и дело туда наезжали, основывая колонии в Северной Африке. Платон, конечно, хорошо знал знаменитые описания Египта в Геродотовой истории. И как же было Платону не пройти по следам своего предка Солона, набравшегося мудрости у египетских жрецов в Фивах, Гелиополе и Сансе. Солон беседовал в Гелиополе с Псенофисом. В Сансе он посетил Сонхиса. Оба считались самыми учеными жрецами. Они так гордились

древностью своего народа и сохранившимися преданиями, что греки для них оставались все еще малыми детьми. «Ах, Солон, Солон! — воскликнул один из старцев. — Вы, эллины, вечно остаетесь детьми и нет среди эллинов старца!» По мнению египетского жреца, все эллины юны умом, и умы их не сохраняют преданий, переходящих из рода в род, или учения, поседевшего от времени. Солону некогда египетские жрецы поведали о судьбе древней Атлантиды и кровопролитной войне афинян и атлантов.

Платон якобы ездил не один, а вместе с юным Эвдоксом, тоже своим учеником, будущим знаменитым географом и астрономом. Фиванский пифагореец, друг Сократа Симмий будто бы тоже собрался вместе с Платоном в эту поездку. Во всяком случае, Эвдокс, родившийся в 408 году, мог к 390—389 годам восемнадцатилетним юношей сопровождать тридцатипяти-тридцатилетнего Платона. В Гелиополе через триста лет после этого события показывали дом, где жили Платон и Эвдокс.

Есть сведения, что Платон посетил Кирену, город, основанный в Северной Африке еще в VII веке до н. э. греками. Родом оттуда был Аристипп и знаменитый математик Феодор. Рассказывают, что Платон навестил там Феодора, брал у него уроки математики, как некогда это предельвал и сам Сократ. Феодор был близок к пифагорейцам, и у Платона тоже постепенно возникла дружба с этими философами аскетического образа жизни, знатоками смысла чисел как символов человеческого и космического бытия. Недаром Платона всю жизнь связывали узы дружбы с тарентийцем Архитом. Платон жил в Италии, в той ее южной части, которая впоследствии именовалась Великой Грецией и которая издавна была заселена греками, как и Сицилия. В богатых торговых городах Кротоне, Метапонте, Таренте еще в VI—V веках до н. э. развернули свою деятельность философы-пифагорейцы. Полужендарный Пифагор когда-то поселился в Кротоне и учил там многие годы. Пифагор впервые ввел в упот-

ребление термин «философ», когда на вопрос тирана Поликрата, кем он является, ответил: я не мудрец (*sophos*), я любитель мудрости (*philosophos*), то есть философ. Доктрина пифагорейцев обладала огромной известностью и притягательностью. Она учила о равенстве всех душ перед вечностью. Отсюда запрет уничтожать любое живое существо и множество ограничений, чтобы не совершить никакого насилия и сохранять помыслы человека чистыми, лишенными аффектов. Пифагорейцы более всего почитали число и числовые отношения, внекачественные и бесстрастные. Боги и весь окружающий мир выражены у них символикой определенного соотношения чисел, что способствовало развитию математического подхода к миру и прогрессивному развитию точных наук.

Строгий образ жизни пифагорейцев, их созерцательная философия, благожелательность к человеку и стремление делать добро, оказать помощь привлекали к ним многих людей. Можно сказать, что они пытались создать свою каллокагатию и реформировать общество, пользуясь религиозно-этической проповедью. Здесь были соединены философия с жизненной практикой, указывающей человеку достойный путь к судьбе, ожидающей его после смерти. Видимо, в этом учении сказалась реакция на обеспеченность, роскошь, аморализм и скептицизм, которые нередко развивались в греческих полисах, разбогатевших на захватнических войнах и постепенно утерывших старые доблестные идеалы. В эпоху тиранических властителей, которыми славилась греческие города Великой Греции, пифагорейцы были опасны своей проповедью. Поэтому они тяготели к замкнутости, потаенности, создали настоящий тайный союз и распространили свое влияние через членов общества во многих городах, где те занимали видные должности. Они даже скрыто руководили политикой. Однако в Кротоне деятельность пифагорейцев встретила сопротивление приверженцев некоего

Килона, знатного и богатого кротонца, по словам Ямвлиха, биографа Пифагора, «свирепого насильника, беспоконного и жестокого человека». Дома пифагорейцев и их имущество были разгромлены и разграблены, многие из пифагорейцев погибли. Но и в Метапонте пифагорейские дома были сожжены и, по преданию, спаслись только молодые и ловкие Филолай и Лисис. Однако эти события произошли давно, еще в середине V века до н. э., и пифагорейский союз как единое прочное целое прекратил свое существование в те времена, когда Платон еще не родился.

После этих событий пифагорейцы переселились в Грецию, в Фивы, как это сделал Филолай, и во Флиунт, где жили его ученики, например Эхекрат. Некоторые вернулись через много лет из Греции в Италию, а именно в Тарент, который и стал главным пифагорейским центром. Во времена Платона пифагорейцы уже были не столько политиками, сколько учеными — астрономами, механиками, математиками, особенно геометрами и музыкантами-акустиками. Многие из них пользовались большим личным авторитетом благодаря своей ученой славе и строгому нравственному облику. К ним прислушивались властители и даже искали их расположения. Философы-пифагорейцы почитались великими мудрецами, хранителями глубоких тайн, и престиж государственного деятеля неимоверно возрастал, если он или сам занимался философией, или покровительствовал ей. Понятно, почему Платон не мог миновать Тарента, города, в котором жил и философствовал знаменитый Архит, тот, который установил впервые различие между арифметической, геометрической и гармонической прогрессией и решил проблему удвоения куба. Его математические занятия были связаны с изысканиями в области механики и музыки. Он первый представил движение машин в геометрических чертежах и делал акустические опыты. Еще удивительнее были военные таланты Архита, который вы-

полнял не раз обязанности стратега. И в первый же раз, как Архита отстранили от должности, тарентийцы потерпели поражение.

Это о Филолае и Архите писал через несколько сот лет знаменитый римский архитектор и ученый-механик Витрувий: «Природа наделила их столь острым и тонким умом и столь богатой памятью, что они в состоянии были в совершенстве знать геометрию, астрономию, музыку и прочие науки... Такие люди встречаются редко».

Дружба Платона и пифагорейцев оказалась очень плодотворной для философа. Пифагорейцы выразили в своем учении огромную склонность античного человека к математически точному, логическому мышлению и к освоению мира в его пространственно-геометрических и структурно-числовых отношениях. Если Сократ научил Платона уважать человека, стремящегося к знанию и нравственному идеалу, то пифагорейцы обучили Платона четкости мысли, строгости и стройности в построении теории, последовательному и всестороннему рассмотрению предмета.

Путешествия Платона после смерти Сократа происходили в девяностые годы IV века до н. э., длились целых десять лет и закончились поездкой Платона в Сицилию в 389—387 годах.

Сицилийский тиран Дрионийский тарш

Сицилия — богатейший и плодороднейший остров, который был посвящен богине Деметре, покровительнице и дарительнице урожая. Этот благодатный остров назывался в древнейшие времена Тринакрией — островом с тремя мысами и считался пристанищем гомеровских кестригонов и киклопов. Близость к Италии, от которой Сицилия отделялась лишь узким проливом, сделала из острова житницу Италии. Удобное положение острова в Средиземном море еще в VIII веке до н. э. заставляло греков основывать здесь свои города, что, однако, привело к столкновению с финикийцами из Карфагена, которым рукой было подать от Северной Африки до Сицилии. А финикийцы господствовали над главными торговыми путями и славились как путешественники и купцы. Города Сиракузы, Гела, Акрагант, Гимера, Селинунт — результат освоения греками Сицилии. В городах издавна кипела борьба партий — аристократии и демократии.

Здесь же были основаны так называемые «тирании», пытавшиеся объединить под своей властью всю Сицилию. Среди сицилийских греков процветали науки и искусства. Сицилийцы родом комедиографы Эпихарм и Софрон, поэт Стесихор, философ Эмпедокл, ритор и софист Горгий, историк Филлист. Сицилия ревностно сохраняла свою независимость и в Пелопоннесской войне, в 415 году нанесла сильнейшее поражение мощному афинскому флоту.

Правда, события начала IV века до н. э. не очень подходили на недавние успехи сицилийцев. В Сиракузах правил тиран Дионисий Старший. Будучи человеком простого рода, но удачливым стратегом, он захватил власть в Сиракузах вооруженной силой (406 г.), опираясь на преданное войско, которое он задаривал деньгами. Вначале он успешно боролся с карфагенянами, которые крепко сидели в северо-западной части Сицилии. Затем, когда ему пришлось уступить им некоторые города, Дионисий женился на дочери известного полководца Гермократа, того самого, который одержал блестящую победу над афинским флотом в 415 году. Но сиракузцы восстали против Дионисия, и жена его погибла страшной смертью. Дионисий вновь захватил власть, расправился с мятежниками, взял сразу двух жен, Дориду из Итальянских Локр и свою землячку Аристомаху, дочь Гиппарина. Этот последний был знатнейшим гражданином Сиракуз и в свое время избирался вместе с Дионисием полководцем, с неограниченными полномочиями. Началось соперничество жен и тех, кто стоял за их спиной. Сиракузцам хотелось иметь наследника от дочери Гиппарина. Мать Дориды обвинили в колдовстве и казнили, но первый сын родился у Дориды. Войны с карфагенянами чередовались с придворными интригами и политической борьбой, когда Дионисий предавал смерти многих граждан, конфискуя их имущество и проявляя небывалую жестокость. Дионисий был одним из тех, кого именовали ти-

ранами в осудительном смысле, в то время как тираны VII—VI веков до н. э. в греческих городах были носителями демократических принципов в противовес старой аристократии, а некоторые из них, как Питтак и Периандр, даже причислялись к легендарным семи мудрецам. Тщеславие Дионисия было невероятно. Он считал себя талантливым поэтом и трагиком, но над его стихами смеялись, и лишь за одну трагедию он не без труда сумел получить в Афинах награду. Радуюсь этой своей победе, после чрезмерных пиршественных возлияний он и умер в 367 году. Говорили, что вместо снотворного ему подсунили яд, который привел его к смерти.

Важную роль при дворе тирана играл Дион, сын Гиппарина, брат жены Дионисия Аристомахи, сам женатый на дочери Дионисия.

Дион был человеком умным, образованным, молодым, питавшим надежды на политические реформы и аристократическом духе. Он увлекался философией, что не мешало ему быть человеком опытным в политике.

Диону суждено было терпеть жестокость Дионисия-отца, а затем и безумства Дионисия-сына, власть которых он стремился превратить в просвещенную тиранию. По приглашению Диона, не без влияния пифагорейцев, и в частности Архита, в Сицилию прибыл Платон, который как раз совершал свое длительное путешествие по Италии.

Уже около десяти лет Платон провел вне родных мест, набираясь мудрости и знаний, накапливая опыт бывалого философа. По рассказам друзей, он знал о страсти Дионисия Старшего к поэзии и, возможно, питал горделивый замысел воздействовать своей философией на его нравственный облик. И хотя Плутарх писал, что Платон приехал в Сицилию «единственно волею божества, а не по человеческому расчету или разумению», но, видимо, главным проводником этой божественной воли все-таки оказался Дион. Диону в год приезда Пла-

тона было всего 18 лет, но он уже осознавал себя учеником Платона и с горячностью неопита решил провести в жизнь свою идею нравственного совершенствования тирана посредством философии.

Платон с молодости мечтал быть человеком полезным обществу и государству. Он жил постоянно в окружении сильных политических страстей. Ближайшие родичи его принимали самое активное участие в олигархической борьбе за власть 411 и 404 годов. Они даже приглашали молодого человека в соучастники их замыслов. По молодости лет Платон был убежден, что именно эти люди отвратят государство от несправедливости. Но когда он стал наблюдать за их действиями (а все их поступки были бескомпромиссно жестоки), то убедился, что за короткое время эти люди заставили всех увидеть в прежнем государственном строе «золотой век». Однако приход к власти демократов нанес новый удар Платону, когда он стал свидетелем их несправедливости к Сократу. Вот тогда-то Платон увидел, что для него невозможно заниматься государственными делами. Старые обычаи, законы и нравы поразительно извратились и пали. Сам Платон, уже будучи стариком, признавался в одном из писем, что у него, исполненного рвения служить обществу, все пошло вразброд и в конце концов потемнело в глазах (VII письмо). Как человек думающий, Платон не перестал, однако, размышлять о том, каким путем можно улучшить нравы и вообще государственное устройство. Странствуя по разным странам и наблюдая их жизнь и законы, Платон пришел к выводу, что все существующие государства управляются плохо. Излечить их законодательство невозможно, а помочь им может только удивительное стечение обстоятельств. Для Платона философия явилась тем единственным источником, который питает государственные законы и жизнь частного человека. Все более и более Платон утверждался в мысли, что избавить от зол человеческий род могут только истинные и

правильно мыслящие философы, занявшие государственные должности, или же властители государств, которые по какому-то божественному определению станут подлинными философами.

Таким образом, идеи Платона и Диона целиком совпадали, а человек, восприимчивый к поэзии, был, по их мнению, пригоден к усвоению истинной философии.

Но что было вполне извинительно для юного Диона, то у тридцативосьмилетнего, уже испытанного жизнью Платона граничило с чистой иллюзией. Вскоре по приезде Платона в Сиракузы выяснилась вся ничтожность тамошней пресловутой блаженной жизни. Итальянские и сиракузские пиршества не пришлись по душе Платону. А привычка наедаться дважды в день до отвала была ему просто отвратительна. Философ увидел, что люди, с юности воспитанные в таких низменных нравах, никогда не смогут стать разумными, даже если они одарены чудесными природными задатками. Бедственное положение государства, граждане которого погружены в роскошь, обжорство, пьянство, любовные утехы и не прилагают ни к чему никаких усилий, было страшной очевидностью. Платон с горечью осознает, что подобные государства неизбежно меняют формы правления, впадая в крайности тирании и олигархии. И всякий раз их властители не могут даже слышать о справедливости и равноправии, хотя прикрываются демократическими фразами. Надо было очень верить в силу философского воздействия на тирана, чтобы сделать столь решительный шаг и начать увещания Дионисия. А сам тиран не без любопытства дал свое согласие на философские беседы с Платоном. Опытный и закаленный Дионисий, привыкший все сорок лет своей жизни никому не верить и в каждом подозревать врага, с внутренним недоверием слушал рассуждения философа о добродетелях правителя и человека. Платон поучал Дионисия, пытаясь объяснить, что такое мужество, хотя никогда не участвовал в сра-

жениях военной и государственной жизни. Платон доказывал, беседуя с Дионисием, что тираны беднее всех мужеством, ибо держат окружающих только силой страха, а сами испытывают страх перед каждым человеком. А когда зашел разговор о справедливости, выяснилось, что подлинного счастья достойны лишь справедливые люди, а несправедливость есть не что иное, как несчастье.

Примечательной была одна из бесед Дионисия с Платоном, сведения о которой, все более обрастая подробностями, дошли до конца античности. Дионисий задавал вопросы, а Платон отвечал на них тоном, не вызывающим никаких сомнений в авторитетности философа. На вопрос о том, кто самый счастливый человек, Платон назвал без колебания Сократа. Когда Дионисий стал допытываться, в чем состоит цель властителя, Платон, не смущаясь, сказал: «Делать из своих подданных хороших людей». Дионисий мнил себя на редкость справедливым судьей и поинтересовался мнением Платона о значении справедливого суда. Однако Платон не стал льстить своему грозному собеседнику и остроумно заметил, что судьи, даже справедливые, похожи на портных, дело которых зашивать порванное платье. Намек был вполне очевиден — мало залатывать дыры в государстве, управляемом тираном, надо изменить сами методы власти. Дионисий не унимался. Он хотел знать, не требуется ли храбрости тирану, думая, что Платон наконец оценит его личные качества. Но Платон ответил без утайки, что тиран самый боязливый человек на свете, так как он дрожит перед своим цирюльником, опасаясь, как бы тот не зарезал его бритвой.

Дионисий уже не скрывал неудовольствия, выслушивая наставления всеми восхваляемого философа и подозревая его в неприкрытом осуждении своей особы. Возмущал Дионисия и тот энтузиазм, с которым Платона слушали придворные. Молодежь была просто зачарова-

на Платоном, высказывавшим открыто такие мысли, которые еще никто никогда здесь не произносил вслух, да и думать боялся.

Наконец терпение Дионисия иссякло, и он резко спросил Платона, зачем тот приехал в Сицилию. На ответ Платона, что он ищет совершенного человека, Дионисий язвительно сказал: «Клянусь богами, ты его еще не нашел, это совершенно ясно».

На этом и закончилось нравственное воздействие философа на тирана.

Платон, который, рискуя жизнью, недавно наблюдал за потоками пылающей лавы во время извержения Этны, теперь подвергался гораздо большей опасности. Зная жестокость и вероломство Дионисия, Дион решил немедленно отправить Платона восвояси. На корабле спартанского посла Поллида Платон отплыл из Сиракуз, не подозревая, что посол получил тайный приказ убить его, когда выйдут в открытое море, или, в крайнем случае, продать в рабство. Это последнее распоряжение тирана было сделано не без злорадства над философом, оторванным от живой практики жизни. Дионисий притворно заявил, что Платон ведь не понесет никакого ущерба, так как, будучи человеком справедливым, он и в рабском состоянии будет испытывать счастье.

Поллид не решился убить почитаемого всеми философа, но тем не менее, боясь послушаться Дионисия, продал Платона в рабство на острове Эгина. Эгинеты в это время носвали с Афинами, и каждого афинского гражданина, появившегося на острове, ожидало рабство. На острове, где, по одному из преданий, родился Платон, его вывели на невольничий рынок.

Анникерид, житель Эгины, отправлялся на состязания колесниц в Элиду. Когда он перед отъездом случайно повстречал Поллида и узнал в готовом для продажи невольнике известного философа Платона, он сразу же его купил за 20 или 30 мин. Но купил он его только для

того, чтобы немедленно отпустить на свободу. И этим, как говорят, стяжал гораздо большую славу, чем в состязании колесниц. Ведь никто бы и не знал об Анникериде, если бы он не выкупил Платона.

По другим сведениям, Платона выкупил у спартанца Поллида все тот же пифагореец Архит, давнишний друг и благожелатель и Платона и Диона. Вся эта живописная история вызывала в античности множество толков и слухов. Ее всячески расписывали и, наверное, преувеличивали. Передавали историю о том, как спартанец Поллид впоследствии потерпел поражение от афинского полководца Хабрия и утонул, так как ему, по словам античного писателя Диогена Лаэртца, «божество отомстило за философа».

Были сведения о том, что друзья Платона хотели вернуть Анникериду затраченные им деньги, но тот благородно отказался. Тогда друзья вручили эти злосчастные деньги Платону, и он, не отличавшийся богатством, неожиданно стал обладателем солидной суммы. Потратил он этот капитал, как и подобает истинному философу.

АКАДЕМЯ



Вернувшись в Афины после долгих лет странствий, Платон купил на северо-западной окраине города в 6 стадах¹ от главных, Дипилонских, ворот дом с садом, где поселился и основал философскую школу.

Вся близлежащая местность, где когда-то находилось святилище Афины и где остались от него двенадцать олив, деревьев богини, была под покровительством древнего героя Академа, которому эта земля была подарена якобы легендарным царем Тесеем.

Афиняне называли сады, рощи и старинный гимназий этого живописного уголка Академией. Там-то и возникла около 385 года знаменитая философская школа Платона, просуществовавшая до самого конца античности.

В 529 году нашей эры византийский император

¹ Стадий — около 192 м.

Юстиниан закрыл Академию как рассадник языческой ложной мудрости.

Здесь, в Академии, Платон обрел ту спокойную домашнюю, скромную жизнь, которой ему так недоставало. Однако судьбе было угодно, чтобы он еще два раза покидал ставшее для него родным место и после драматических событий, спасая жизнь, снова возвращался к своим ученикам под сень хранимого героем Академом сада.

Еще в первой половине V века до н. э. знаменитый афинский полководец Кимон превратил запущенный участок недалеко от Афин в прекрасную рощу с искусно размеченными дорожками. Он же провел сюда воду, и сад Академии уже давно стал украшением города и полюбился афинянам. Подходя к Академии, путник встречал изображение Артемиды, Лучшей и Прекраснейшей, и храм Диониса-Освободителя, а неподалеку могилы Перикла и Фрасибула, вождей демократии, и выдающегося полководца Хабрия.

Каждого, кто шел из Афин через пригород Керамик в Академию, охватывал трепет, ибо вся дорога была обрамлена каменными стелами, воздвигнутыми в честь храбрецов, сражавшихся за свободу Афин на суше и на море. Философия и воспоминания о великих предках соседствовали здесь, придавая платоновской школе оттенок особой значительности. В этом тихом уголке, за пределами Афин возле реки Кефиса, среди широколиственных платанов и старых маслин, серебристых тополей и густых вязов там и здесь виднелись статуи муз и жертвенники этим богиням искусства. Одно из масличных деревьев было столь древним, что афиняне почитали его вторым после той маслины, которую в городе посадила сама богиня Афина. Приспособления для гимнастических упражнений, оставшиеся от гимнасия, отнюдь не мешали статуям Прометея и Гефеста, Геракла и Эрота. Мудрый титан Прометей и не менее мудрый божественный ма-

стер Гефест, многострадальный герой Геракл и крылатый бог Эрот, который, по словам Сократа, означает вечное стремление, обитали под тенистыми деревьями на веселых лужайках. От жертвенника Прометею и Гефесту по старинной традиции начинался во время празднества в честь богини Афины и Прометея бег с факелами до самого города, тот самый, о котором Платон вспоминает в своем сочинении «Государство».

Что же представляла собою платоновская Академия? Это был союз мудрецов, служивших Аполлону и музам. Недаром сам дом Платона назывался «домом муз», «мусейоном». Главой школы, или схолархом, был Платон. Но он еще при жизни назначил своим преемником племянника Спевсиппа, сына своей сестры Потоны.

С именем каждого нового схоларха в дальнейшем связывались разные периоды в развитии школы, и она получала название Академии первой (или Древней), второй (или Средней), третьей (или Новой) и так далее.

Школа размещалась в старом здании бывшего гимнасия. Перед входом каждого встречала надпись: «Негеометр да не войдет». Она указывала на великое уважение Платона и его соотечественников к математике вообще и к геометрии в частности, как науке о самых прекрасных мысленных фигурах. Недаром в Древней Академии главное внимание уделялось математике и астрономии. И в этом нельзя не увидеть воздействия почитаемых Платоном пифагорейцев.

По их примеру занятия были двух типов: более общие, для широкого круга слушателей, и специальные, для узкого кружка посвященных в тайны философии. Занятия проходили по строгому распорядку. По утрам всех обитателей Академии поднимал мощный звук особого будильника, изобретенного самим Платоном. В Академии были установлены солнечные часы — гномон. Как и следовало, занятия математикой в платоновской школе привели к увлечению прикладной механикой, осо-

бенно когда в Академии подолгу жил Эвдокс, знаменитый астроном. Сведения о «ночных часах», будильнике Платона, некогда сообщил Аристоксен, знавший от своего учителя Аристотеля много интересного о жизни в Академии.

Из клепсидры — большого сосуда, полного водой, рассчитанного приблизительно на действие в течение шести часов, вода по капле вытекала в расположенный под клепсидрой резервуар. Когда в этом резервуаре накапливалась вода, она попадала под сильным давлением в трубку, соединявшую верхний резервуар с нижним, пустым. Сверху через узкую трубку вода обрушивалась с силой в нижний резервуар. Сдавленный воздух оттуда выходил через единственный клапан нижнего резервуара, соединенный длинной трубкой с музыкальным инструментом. И этот водяной орган типа флейты начинал мощно звучать под действием силы выходящей струи воздуха.

По примеру пифагорейцев, живших издавна строгими общинами аскетического типа, ученики спали мало, бодрствуя и размышляя в тишине. Они устраивали совместные трапезы, воздерживались от мяса, возбуждавшего сильные чувственные страсти, питались овощами, фруктами (сам Платон очень любил смоквы¹) и молоком; старались жить чистыми помыслами. На обеды в Академии иной раз приглашались друзья Платона, но скромность совместной трапезы оставалась неизменной. Известный полководец Тимофей, сын знаменитого Конона и соратник Хабрия, привыкший к роскошным угощениям на торжественных приемах, был поражен умеренностью стола и обстановкой мудрой «мусической» беседы. Рассказывают, что, отобедав в Академии по приглашению Платона и встретив его на следующий день, он сказал: «Ты и твои друзья, Платон, прекрасно вкушаете, не на-

сыщаясь сразу, а так, чтобы чувствовать себя хорошо и назавтра».

Вначале Платон беседовал, прогуливаясь под деревьями в роще Академа, а затем в своем доме, где устроил святилище муз и так называемую экседру, залу для занятий. Со времени Платона его собственный дом и сад афиняне тоже стали привычно именовать Академией, как и всю местность, где находилась философская школа. Через сотни лет, в I веке до н.э., римский диктатор Сулла окружил Афины, вырубил старинный сад платоновской Академии для постройки осадных машин. Но деревья выросли снова, и прекрасный тенистый сад просуществовал до конца античности.

В самой школе, или «доме муз», племянник Платона Спевсипп установил изображение Харит, а знатный перс Митридат водрузил в Академии через несколько лет после ее открытия статую Платона, работы скульптора Силаниона, с посвятельной надписью. Об этом изображении Платона можно судить по известному сохранившемуся бюсту Платона, для которого скульптура Силаниона служила оригиналом. Здесь же, в Академии, когда Платона уже не было в живых, его ученики торжественно праздновали ежегодно 7 таргелия (21 мая) день его рождения. Они вспоминали Платона наподобие древнего героя, основателя, или эпонима, святилища философии. Неподалеку за стенами сада находилась могила Платона.

По закону должность главы Академии была выборной, но, как рассказывают, выборы произошли лишь дважды, обычно глава школы сам назначал своего преемника.

Чтобы содержать в порядке дом и сад, следить за трапезами, кухней, жертвоприношениями, нужны были специальные служители, хотя весь обиход был достаточно скромным. На каждый день месяца из слушателей назначались архонт, или глава учеников, а также «приноситель священных жертв» и «служитель муз». Наряду

с учителями преподавали их помощники — уже опытные ученики, оканчивающие курс. Здесь занимались не только философией, математикой и астрономией, но и литературой, изучали законодательства разных государств, естественные науки, например ботанику. Некоторые из учеников особенно увлекались изучением природы и ее законов, в числе таковых был Аристотель (384—322 гг.), двадцать лет проведший в платоновской Академии и только в сорок лет, зрелым ученым, уже после смерти Платона, получивший возможность открыть свою собственную школу — Лицей.

Многие годы до этого момента Аристотель с разрешения Платона вел занятия в стенах Академии. А однажды, как несколько иронически рассказывают древние, когда, будучи уже стариком, Платон ненадолго уехал, Аристотель стал обучать в том же самом месте, где обычно беседовал Платон со своими учениками. Только с помощью своего племянника Спевсиппа, крепкого и сильного мужчины, Платон вытеснил Аристотеля из своих владений. Этот, может быть, и не очень достоверный факт указывает на то, что традиции в Академии строжайшим образом соблюдались и нарушать их никому не было разрешено. А уж права основателя школы, ее главы и хозяина всех владений соблюдались неукоснительно.

Платоновская Академия впервые в античности с успехом объединила в своих стенах разнообразные науки, большое количество слушателей, привела в систему и выработала строгие методы преподавания. Среди учеников Платона в Академии были даровитые люди, которые в дальнейшем не только с увлечением занимались философией, но и активной государственной деятельностью. Некоторые сведения об ученичестве ряда известных и даже знаменитых лиц у Платона, может быть, и преувеличены, но важно то, что историческая традиция упорнейшим образом приписывала Платону именно тех, а не других учеников.

Так, племянник Платона Спевсипп возглавлял после смерти Платона Академию в 347—339 годы. Его младший соученик Ксенократ был третьим схолархом (339—314 гг.) и вступил в должность после Спевсиппа, когда Спевсипп, служивший опорой Платона в старости, тяжело заболел и, не перенеся мучений, покончил с собой.

Ксенократ сопровождал Платона в одной из его поездок в Сицилию. Человек справедливый и необычайно честный, он был крайне суров, и, по преданию, Платон с улыбкой напоминал ему, что не надо забывать жертвоприношения Харитам, богиням милого и радостного восприятия жизни.

Прямым учеником Платона был великий Аристотель. Под тенистыми деревьями своего Ликей, уже когда не было на свете Платона, прогуливаясь по аллеям, вел Аристотель беседы с учениками. И школу его прозвали перипатетической¹.

Любимейшим учеником Платона был Филипп Опунтский, который собственноручно переписал огромное сочинение Платона «Законы», оставленное учителем перед смертью в черновом виде на восковых дощечках. Ему же приписывали в древности «Послезаконие», нечто вроде заключения к «Законам».

Дион, изгнанный из Сицилии в 366 году, находясь в Греции, жил в кругу философов и слушал своего старшего друга в Академии. Из Малой Азии, родом из города Скепсиса, были Эраст и Кориск, последователи Сократа и ученики Платона. Оба они дружили с Гермием, властителем Атарнея (в Малой Азии, вблизи Скепсиса), любителем философии, и были близки к Аристотелю, женатому на племяннице Гермия. Это к Гермию, Эрасту и Кориску обратился с письмом старик Платон (VI письмо), увещевая всех троих держаться друг друга,

¹ Греческое *peripateō* — прогуливаюсь.

ибо ни золото, ни кони, ни военная мощь не имеют большего значения, чем поддержка верных и мыслящих здравых друзей. При дворе Гермия часто гостил Ксенократ и бывали другие платоники. Но Гермий погиб в борьбе с персами, а его ближайший друг Аристотель, после смерти своего знаменитого ученика Александра Македонского, вынужден был бежать из Афин, где враги уже готовили ему судьбу Сократа.

Иные говорили, что известнейший автор сочинения о характерах человека Феофраст — ученик не только Аристотеля, но и Платона. Феофраст после смерти Аристотеля передал его библиотеку своему ученику, сыну Кориска, бывшего другом Платона и Аристотеля.

Известный философ Гераклид, родом из Гераклеи на Понте (Черное море), тоже вышел из стен Академии, но слушал не только Платона и Спевсиппа, а также Аристотеля. Однажды, когда Платон третий раз уезжал в Сицилию, Гераклид временно возглавлял школу. После смерти Спевсиппа при выборе схолаха Гераклиду пришлось уступить место Ксенократу, получившему на несколько голосов больше. Тогда он покинул Афины и уехал в родной город, где и открыл собственную школу.

Среди слушателей Платона были трое из числа десяти знаменитых аттических ораторов — Гиперид, Ликург и Демосфен. Все они отличались не только прекрасным знанием философии, но прославились как ораторы и государственные деятели. Им пришлось жить в тяжелое время македонского завоевания Греции, и все они участвовали в борьбе народной антимакедонской партии. Гиперид был казнен македонцами. Ликург за свои заслуги перед Афинами был погребен согражданами у той самой дороги, что вела из Афин в Академию. Демосфен — величайший оратор всех времен, был одним из последних защитников общегреческого дела. Спасаясь от преследующих его врагов, он вынужден был принять яд, чтобы не попасться им в руки живым.

К десяти знаменитым аттическим ораторам принадлежал также Исократ, старый друг Платона, слушатель Сократа и почитатель Академии. Исократ, свидетель безнадежной борьбы греков с македонцами, после битвы при Херонее (338 г.), когда греки навсегда потеряли свою свободу, кончил жизнь самоубийством.

Пусть не удивляет читателя, что некоторые из друзей и учеников Платона так печально окончили жизнь. Время, в которое они жили, было для Греции страшным. Со всех сторон она была окружена врагами. Тому, кто был воспитан Платоном в духе сократовского преданного служения родине и ее законам, ничего не оставалось делать, как убить себя от безвыходности борьбы, которой отданы были все силы.

Совсем в духе преданий о мудрых женщинах-пифагорейках есть рассказ, как Академию посещали Ласфения из Мантинеи и Аксиофея из Флиунта. Мантинея — родной город жрицы Диотимы, обучавшей Сократа диалектике красоты и любви («Пир»); Флиунт — город, где нашли приют изгнанные из городов Италии пифагорейцы. Возможно, что Ласфения и Аксиофея, которая ходила в мужском наряде, скрывая свой пол, — чистейший вымысел. Но он создан не без умысла и своеобразной символики.

Во всяком случае, историк философии конца античности Диоген Лаэртский, перечисляя учеников Платона, добавляет, видимо желая рассеять впечатление выдумки, что все это очень «похоже на правду».

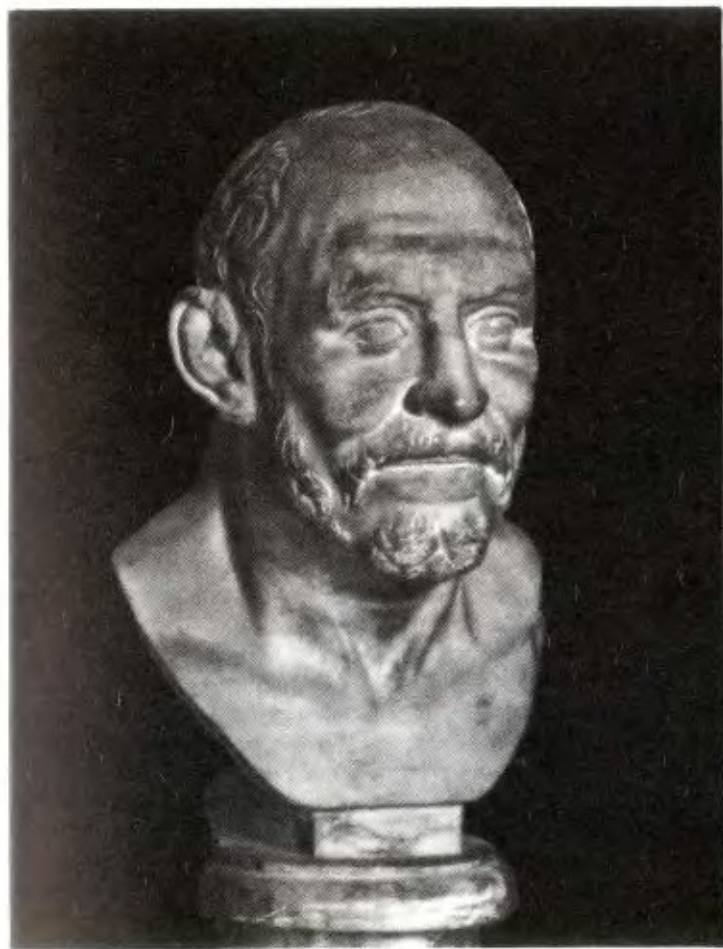
Пути Платона и пути его сотоварищей по ученическим годам у Сократа разошлись.

Как мы уже знаем, Антисфен, Федон, Эвклид, Эсхин из Сфетта, Аристипп сами возглавили свои философские школы или учили, странствуя по городам Греции и за ее пределами. С некоторыми из давних товарищей отношения даже стали натянутыми. С Антисфеном, после того как Платон иронически отозвался об одном из

его сочинений, они вели себя как чужие. Аристипп возмущал Платона зависимостью от сиракузского тирана и потаканием его прихотям. Эсхина Платон не одобрял за его добрую славу при дворе Дионисия и даже перетянул Ксенократа, как говорят, единственного ученика Эсхина, к себе в Академию.

Судя по разным сведениям, отношения Платона с другими учениками Сократа так никогда и не наладились. Никто из них не хотел признавать иного авторитета, кроме умершего наставника, тем более признать авторитет человека, вышедшего из их же среды. Каждый чувствовал себя вполне самостоятельным и сложившимся философом. Поэтому, когда Платон после смерти Сократа, раздумывая о будущем, начал было утешать товарищей и, готовый сам возглавить школу, предложил поднять за это кубок с вином, экспансивный Аполлодор резко возразил. Он, который безутешно рыдал по Сократу, заявил в гневе, что скорее готов выпить яд, чем это вино.

А с Ксенофонтом у Платона давно началось соперничество. Правда, Ксенофонт еще до смерти Сократа уехал в Малую Азию, пустился там в опасную политическую авантюру при дворе персидского царя Артаксеркса и его младшего брата Кира. Но, вернувшись в Грецию, он стал знаменитым писателем, автором увлекательных книг о Кире Старшем, о современных ему исторических событиях конца афинской демократии, полных драматизма. Философские увлечения юности послужили ему основой для сочинений, где безраздельно господствовал образ Сократа, мудрого наставника и образцового человека. Ксенофонт ревнисто относился к памяти учителя и не мог стерпеть того, что Платон как бы присвоил себе право главного арбитра во всех фактах, связанных с биографией их общего друга. Ксенофонт написал не только «Воспоминания о Сократе», но и сочинения, которым он с умыслом дал те же самые названия, что и Платон, —



Демокрит.
Римского портрета II—I вв. до н. э.

«Пир» и «Апология Сократа». Платоновское «Государство» и ксенофоновское «Воспитание Кира» тоже написаны антагонистами. Недаром Платон в «Законах» счел выдумкой воспитание Кира по Ксенофону, не называя имени последнего. Соперничество здесь было налицо. Примечательно, что Платон и Ксенофонт оба, вспоминая о Сократе, нигде никогда не упоминают друг о друге.

Любопытен и такой факт. У Платона нигде нет никакого упоминания о великом философе-материалисте Демокрите, который был ровесником Сократа и умер в 370 году, то есть когда Платон был в расцвете творческих сил. Демокрит, приехав из ионийской Греции, из Абдера, слушал в Афинах пифагорейца Филолая и самого Сократа, хорошо знал Анаксагора. Он написал более семидесяти сочинений и был первым энциклопедическим умом среди греков, философом, математиком, физиком, теоретиком музыки и поэзии, физиологом, медиком. Демокрит первый учил о первичности материального бытия, состоящего из неизменных, неделимых частиц, атомов, которые он примечательно называл «идеями». Демокрит в истории европейской философии — основатель материализма, в то время как Платон стоит у истоков идеализма. Может быть, принципиальная разница философских позиций была причиной того, что защитники противоположных убеждений стали настоящими антагонистами. Но, уважая идеи и личность друг друга, эти соперники в развитии двух мировых линий философии никогда не опускались до взаимного порицания, насмешек или бранной критики. Они вежливо молчали, делая вид, что каждый из них является единственным глашатеем истины. Правда, мелкие завистники распространяли слухи о том, что Платон скупал сочинения Демокрита и сжигал их. Слухи достаточно смехотворные, чтобы быть правдоподобными. Великое учение нельзя уничтожить. И это доказало Новое время, когда развернулось торжественное шествие материализма.

„Проквещенная“ тирании Дионисия Младшего

Долгие годы Платон мирно занимался преподаванием в Академии. Но судьба готовила ему еще одно испытание, и опять не без вмешательства его сиракузского друга Диона.

Шло время, Платону было уже шестьдесят, да и Дион, некогда восторженный юноша, превратился в умудренного политического деятеля, когда в Сицилии в 367 году произошло важное событие. Умер тиран Дионисий, и власть перешла к его сыну, тоже Дионисию. Опорой сына, так же как и при отце, остался Дион, не жалевший ни денег, ни кораблей, ни стараний, чтобы устроить Карфаген в его притязаниях на Сицилию. Однако враги Диона усмотрели здесь злой умысел, нашептывая Дионисию Младшему, что, обладая огромным флотом, Дион может лишить его власти и передать ее детям Аристомаху, то есть своим родным племянникам и младшим законным сыновьям покойного Дионисия Старшего.

Кроме того, Дионисий-сын с детства был лишен общения с достойными людьми, так как отец опасался размягчающего влияния на будущего тирана. И теперь, освободившись от опеки и сосредоточив в своих руках огромную власть, он среди бесчисленных удовольствий, которыми прославился сиракузский двор, охотно выслушивал нахвешивания и осторожно распространяемую клевету на тех людей, которые якобы готовы ограничить его власть. Дионисий Младший, как справедливо писал Плутарх, был не худшим из тиранов. Однако, по мнению Диона, главное зло происходило от невежества этого молодого тирана. А каждый свободный человек по природе своей должен любить науки и книги, совершенствуя при их помощи ум и душу и находя удовольствие в познании добра и красоты. Все эти благие размышления Диону было очень не просто провести в жизнь. Тем более если учесть, что сам он был намного старше Дионисия и отличался замкнутостью характера, не чуждого гордости, необщительностью и даже неприветливостью. Эти недостатки в устах его завистников перерастали в настоящие пороки. И многие считали Диона высокомерным, самонадеянным, презиравшим обычных людей. Даже друзья Диона иной раз порицали его за излишнюю суровость нрава, а Платон предостерегал его от самонадеянности, которая в конце концов может привести его к одиночеству. Если мы вспомним, что Дион был другом пифагорейцев и сам был склонен к их аскетической жизни, то становятся вполне понятными и его замкнутость, и его требовательность к другим. Настойчивость Диона, жаждавшего просветить Дионисия, оказалась сильнее усилий его врагов. Он так методично увещевал своего родича, объединяя свои мысли с идеями самого Платона, что наконец Дионисий охватил жгучее желание увидеть Платона и услышать его речи. Дион ожидал этого момента и стал посылать письмо за письмом к Платону в Академию.

По просьбе Диона с такими же письмами обратились

к знаменитому философу итальянские пифагорейцы. В письмах звучали трогательные слова об озабоченности судьбой молодой души, не выдерживающей бремени власти, и о благородной задаче спасти Дионисия от пагубных ошибок. За выражением всех этих прекрасных чувств скрывался еще политический расчет ограничить тиранию, подчинить ее аристократической партии, возглавляемой Дионом. Дион даже питал намерения в случае неудачи с ограничением власти Дионисия свергнуть его силой и вернуть Сиракузы к демократии. Сам он демократию не одобрял, но предпочитал ее тирании при невозможности достигнуть здорового аристократического правления.

Платон, который даже и не представлял себе всех сложностей тайной политики Диона и его друзей — пифагорейцев, был смущен надеждами, возлагающимися на его мудрость как философа. Благородно решив просветить тирана, он мечтал освободить от страшного недуга всю Сицилию и — принял предложение Диона.

Нам известно множество подробностей об этой второй поездке Платона в Сицилию. В письме, которое признано не вызывающим сомнения, Платон сам описывает поездку через много лет, пережив гибель Диона.

Платон, который выразил свои заветные мысли о создании идеального общества в сочинении «Государство», как будто бы неожиданно получал возможность воплотить в жизнь свои мечты. Дион и его друзья убедили Платона в том, что Дионисий искренне стремится к философии и образованию. И Платон поверил, что в Сиракузах философ и правитель окажутся одним и тем же лицом. Однако смутные подозрения все-таки не оставляли Платона, и его страшила мысль об удивительной заманчивости предложения Диона, но и о чрезмерной молодости окружавших его друзей. Вместе с тем твердость духа и выдержка Диона были общеизвестны. И это решило дело. Платон отбросил колебания, задумав убедить

Дионисия в необходимости создания нового законодательства и нового государственного строя. Кроме того, Платон не мог оставить Диона в одиночестве и предать дружбу. Ни дальность пути, ни трудности плавания не должны были служить препятствием.

В Сиракузах целая партия приверженцев Диона возлагала надежду на талант Платона внушать молодым людям добро и справедливость, взаимную дружбу и чувства товарищества. Платону, как это было ни тяжело, пришлось оставить Академию, философские беседы и исследования, которые ему так нравились. Он очутился в чуждой ему обстановке, но зато, как ему казалось, он этим самым исполнил долг перед Зевсом-гостеприимцем и проявил безупречное отношение к обязанностям философа.

Платона встретили с небывалым почетом и дружелюбием. За ним Дионисий прислал роскошную царскую колесницу и сам же принес жертву богам, благодаря их за великую удачу, выпавшую государству. Оказалось, что Дионисий держится мягко, пиршества его умеренные, убранство двора скромное. А придворные наперебой проявляли горячее рвение к наукам и философии. Все чертили с увлечением геометрические фигуры и доказывали теоремы на рассыпанном по дворцовым залам тончайшем песке. Дионисий на одном из старинных празднеств даже выразил свое внутреннее недовольство долговечностью и непоколебимостью тирании, считая ее каким-то проклятием.

Враги Диона зашевелились. Они были потрясены тем, что за такой короткий срок Платон добился столь разительного успеха. Не без ехидства говорили о том, что в былые времена сиракузяне разбили мощный афинский флот, а теперь один афинский философ сокрушает всю тиранию Дионисия. Платон же действительно добился невероятных успехов.

74 Ходили слухи, что Дионисия, увлеченного идеями

просвещенной власти, Платон уговорил расстаться с личной охраной, которой было без малого десять тысяч. Молодой правитель, передавали с возмущением, готов бросить четыреста военных триер и десять тысяч конницы, променяв их на поиски высшего счастья в Академии и наслаждаясь геометрией.

Вот здесь-то и сказала истинная тираническая природа Дионисия.

Недолго думая над клеветой, подзадоренный письмом Диона карфагенским властям не начинать мирные переговоры без его санкции, Дионисий вызывает Диона будто бы для беседы. Правда, беседа происходит на берегу моря у подножия крепости. Но вместо обещанного Диону благосклонного прощения прежних обид, Дионисий уличает его в измене и приказывает на жалкой лодке немедленно переправить через пролив, высадив в Италии.

Не ожидавшие таких решительных событий, друзья Диона погружаются в горе, город бурлит, ожидая, что падение Диона вызовет государственный переворот. Тогда Дионисий, боясь за свою судьбу, заверяет друзей Диона и женщин, что Дион только отправлен за границу, а не изгнан. Родичам Диона даже разрешено передать его вещи и рабов, погрузив их на корабли. Таким образом, оказалось, что Дион получил не только свое богатство, но еще подарки от жены и сестры Аристомачи, от верных друзей. Он перебрался из Италии в Грецию, поселился в Афинах, удивляя окружающих богатством и пышностью своей жизни. Так, единственным результатом пребывания Платона в течение четырех месяцев в Сиракузах было изгнание Диона из Сицилии.

А что же Платон, виновник этого изгнания, подготовленного годами неприязни политических врагов Диона?

Платон, прямо можно сказать, только и ожидал смерти. Распространилась молва о том, что Дионисий приказал казнить Платона как виновного в заговоре. Но затем, опять-таки опасаясь за собственную жизнь, если что-ни-

будь случится со знаменитым философом, Дионисий стал притворно милостив, убеждал Платона успокоиться, остаться при его дворе. Эти просьбы, как и положено просьбам тирана, смешанные с принуждением, не предвещали добра. Тиран разыгрывал милостивого правителя и хозяина, не желающего, чтобы гость покинул его двор. Платону тоже пришлось изображать наивного человека, хотя он насквозь видел лицемерие Дионисия. Поэтому Платон не мог противиться, когда, якобы от всего сердца желая не отпускать знаменитого философа, Дионисий поместил его в крепости, чтобы никто не мог тайно его увезти. Любой купец и воин, кто увидел бы Платона уходящего одного, без охраны, готов был бы схватить беглеца и вернуть Дионисию, ожидая милостей, тем более что был специально пущен слух, будто Дионисий любит и необычайно уважает философа. На самом деле Дионисий всячески выражал свою привязанность к Платону, но делал это с одной целью — оторвать его от Диона. Ведь Платон мог так опасно повлиять на деятельного и опытного Диона, что тот мог ускорить, даже находясь вдалеке, падение тирана. Платону приходилось терпеливо переносить приступы пылкой дружбы Дионисия, ревности к Диону и требования восхвалять только одного царственного ученика. Ссоры и примирения совсем замучили Платона. То Дионисий умолял о прощении, то выражал надежду посвятить жизнь философии, то, слушая клеветников, люто ненавидел Платона. К счастью, страшная дружба тирана была неожиданно прервана.

Началась война. Дионисию было уже не до философии. И он милостиво разрешил наконец Платону уехать. Дионисий даже просил прощения у Платона, обещая возвратить Диона к весне на родину, и в дальнейшем посылал тому в Афины доходы с имений, но в Сиракузы Диону путь был закрыт. Платон и Дион оказались обманутыми в своих надеждах посредством философии сделать из тирана благоразумного властителя.

Дион усердно занимался в Академии, к которой его буквально приковала любовь к философии и дружба с Платоном. Он обосновался в Афинах, купив дом у некоего Каллиппа, который по иронии судьбы окажется через много лет одним из его убийц. Прекрасная усадьба за городом всегда была готова принять на отдых Диона и его друзей. Сицилийский изгнанник особенно сблизился с племянником Платона, Спевсиппом, благожелательным и остроумным человеком. Именно ему, возвращаясь в Сиракузы, подарил он свою усадьбу в знак дружбы.

Дионисий все еще не простил Диона, но доходы с имений высылал аккуратно. И когда Платону понадобилось к состязаниям готовить хор мальчиков, Дион принял на себя все расходы и даже выступил в качестве хорега, обучая хор и руководя им. Щедрость Диона, которой не препятствовал Платон, привлекала афинян к знатому и образованному гостю, что было важно для дальнейших политических целей самого Диона. Не было ни одного торжества, на котором бы он не присутствовал, всегда выделяясь скромностью, воздержанностью, мужеством и познанием в науках. Государственные люди ценили общение с ним, и народ с восхищением получал от него подарки. Даже союзная Сиракузам Спарта сделала Диона своим полноправным гражданином, и он уже мог не считать себя бездомным скитальцем, целиком зависящим от прихоти тирана.

Однако зависть Дионисия не имела пределов. Слыша со всех сторон похвалы и восторги своему сопернику, он перестал высылать ему доходы. Какая же слава может долго продержаться без денег, резонно полагал Дионисий и терпеливо ожидал, когда наконец Дион будет просить о милости. Тем не менее тирану все же нельзя было утратить репутацию искателя философской истины. Молва об его по меньшей мере странном обхождении с Платоном уже стала достоянием многих городов. Философы были сильны, и тиран сознавал силу

и славу мудрости, к которой прислушивались государства.

Чтобы как-то загладить в глазах окружающих свои неблагоприятные поступки и всюду сквозившее вероломство, Дионисий наполнил свой дворец людьми, которые слыли учеными и философами, задаривал их подарками и устраивал с ними диспуты. Здесь пригодились неясные обрывки мыслей, некогда подхваченные им от Платона, потому что ему не хватало ни подлинной любви к философии, ни терпения в систематическом ее изучении. До Платона даже дошли слухи, что Дионисий умудрился кое-что записать из прежних бесед с ним и теперь, щеголяя своими познаниями в философии, выдавал его идеи за свои. Однако Дионисий в минуты трезвых размышлений видел, что толпы ученых искателей милостей вокруг него не стоят одного Платона. А стоило ему вспомнить этого непреклонного и независимого человека, как ему хотелось немедленно снова видеть философа у себя во дворце, беседовать с ним, пусть даже не понимая тайны его идей, и, что еще труднее, он готов был выслушать упрёки и назидания. Оказалось, что приезд Платона в Сиракузы был необходим и для Дионисия и для Диона, рискующего стать вечным изгнанником, без имущества, без денег, а значит, как это чаще всего бывает, без политического влияния на родине.

И вот в 361 году, когда в Сицилии как раз наступил мир, Дион, как это ни могло показаться странным, еще раз, теперь уже в третий, стал просить старика Платона отправиться в Сиракузы.

Для самого Диона возвращение домой было пока отложено еще на год. Дионисий, негодуя на тесное общение Диона с Платоном в стенах Академии и желая досадить сопернику, поставил свое прощение Диона в зависимость от согласия Платона на новый приезд в Сицилию. Дион в отчаянии умолял Платона ехать, требовал отплытия, убеждая друга, что теперь-то Дионисий по-настоящему

будет заниматься философией. Платон, уже глубокий старик, решительно отказал и Дионисию и Диону.

Однако как раз в это время в Сицилию прибыл знаменитый, уже известный нам, пифагореец Архит. В свое время Платон познакомил его с Дионисием и даже помог наладить последнему взаимоотношения с городом Тарентом, полномочным представителем которого был Архит. Самолюбивый Дионисий не мог вынести того, что великий философ сидит в своей тихой Академии и беседует с Дионом, а не украшает сиракузский двор. И вот летят просьбы и мольбы уже через Архита. Чтобы облегчить путь, за Платоном высылают триеру. Вместе с ней послан Архедем, ученик Архита. Одновременно Дионисий пишет Платону длинное письмо, в котором ничуть не скрывает, что все дела Диона будут немедленно устроены с приездом философа. В противном случае Дионисий не ручался за свое отношение к Диону. Платон получил письма также и от Архита, от друзей из Тарента, связанных политическими интересами с Дионом. Все тащили Платона в Сицилию. А друзья из Афин прямо выталкивали его вон, требуя спасти Диона и не предавать тарентийских друзей. И вот старый философ, обманывая сам себя, замученный требованиями любящих его друзей и тайными угрозами тирана, державшего в руках жизнь Диона, где бы тот ни находился, снова, в третий раз, собрался в путь.

Дионисий встретил Платона с великим почетом, несмотря на негодование Филиста, политика, историка и ловкого интригана, занявшего место Диона. Неслыханным знаком доверия были встречи тирана и философа наедине. Никто не смел обыскивать Платона, как это было принято из страха перед возможными заговорщиками. Дионисий пытался одаривать Платона деньгами, но тот не польстился на эти щедроты, что вызывало зависть тех, кто с радостью получал подачки от тирана.

Известный философ, Аристипп из Килены, провоз-

глашавший наслаждение естественной потребностью человека, обиженно сказал: «Право же, щедрость никогда не разорит Дионисия. Нам, которые просят много, он дает мало, а Платону, который ничего не берет, — много!» А ведь Аристипп в юности слушал Сократа, и Ксенофонт оставил нам образец любопытной беседы, в которой Сократ тонко и остроумно опровергал суждения Аристиппа, что, однако, ничуть не помешало этому последнему остаться на своих позициях и теоретически обосновать учение о наслаждениях, или гедонизм.

Именно не кто иной, как Аристипп, прекрасный знаток практической жизни, предрек скорое охлаждение Дионисия к Платону. Все началось с того, что астроном Геликон из Кизика, друг Платона, предсказал солнечное затмение. Дионисий, изумленный правильностью математических подсчетов Геликона, наградил его целым талантом серебра. И вот тут-то Аристипп, как всегда смеясь, объявил, что он тоже готов предсказать нечто для всех неожиданное. В ответ на упреки любопытных он эффектно произнес: «Предрекаю вам, что в скором времени Платон и Дионисий станут врагами!» Аристипп за долгие годы своих странствий при дворах владетелей слишком хорошо изучил людей, чтобы допустить ошибку, разгадывая отношения тирана и философа. И действительно, стоило только Платону завести с Дионисием разговор о Дионе, как он увидел вероломство и лицемерие тирана. Разногласия, тщательно скрываемые Дионисием и уже давно замеченные Платоном, из осторожности ни словом, ни взглядом не выдававшим своего знания, теперь оказались на виду у всех.

События ускорились еще тем, что Дионисий запретил высылать Диону доходы с его имущества, якобы принадлежащего теперь сыну Диона. Более того, он вызвал Платона и потребовал от него и его афинских друзей поручительство за Диона, требуя, чтобы тот забрал все свое богатство в Афины, но пользовался только

процентами с основного капитала, которым должны были распоряжаться Платон и его друзья. Дионисий настаивал на согласии Платона пробыть еще год в Сиракузах на предложенных условиях, как бы желая испытать Диона. Платон, замученный сомнениями и хитроумными расчетами тирана, овладевшего огромным, в 100 талантов, капиталом Диона, попросил отсрочки до следующего дня. Философ выше всего ценил верность слову и дружбу с Дионом. Опасаясь вероломства Дионисия, он, когда наступило утро, дал тирану свое согласие и просил одновременно отправить Диону письмо со всеми необходимыми условиями.

Предчувствие не обмануло Платона. Дионисий вдруг неожиданно объявил, что одну половину имущества он отдает сыну Диона, а другую продаст, передав вырученные деньги Платону. Не прошло и нескольких дней, как обстановка вновь изменилась, и Дионисий пустился распродавать все, что принадлежало его сопернику, нарушив свое слово.

Отныне Дионисий уже не таился от Платона, а, наоборот, придумывал всякие хитрости, чтобы его запугать. Платон же в свою очередь, подобно птице, жаждущей улететь, поглядывал по сторонам и в глубине души призывал на помощь удобный случай.

Развязку этих тягостных отношений ускорило еще одно событие. На службе у Дионисия были тысячи наемных варваров. И вот он, нарушив обычаи, попытался посадить старейших наемников на более низкое жалованье. Солдаты ответили возмущением и осадили акрополь. Дионисий, до смерти испугавшись, пообещал им вернуть их исконные привилегии и свалил вину на Гераклида, командующего флотом, союзника и вместе с тем соперника Диона. Недолго думая, Гераклид исчез. Его друзья молили Дионисия разобраться во всем, не преследовать беглеца и даже просили о заступничестве Платона; Дионисий в присутствии Платона, прогули-

ваясь по саду, дал это обещание, но уже вечером следующего дня отказался от него, предписывая страже схватить беглеца. И когда Платон просил о помиловании Гераклида, Дионисий, взглянув на него как истинный тиран, сказал: «Тебе-то я и вовсе не обещал ничего». Философ настойчиво повторил, что Дионисий обещал друзьям Гераклида не причинять ему зла. Слова Платона остались без ответа, а беглеца бросились выслеживать усердные наемники, но он успел бежать в пределы карфагенских владений. Так заступничество за Гераклида привело к полному разрыву Платона с Дионисием.

Платона, мирно обитавшего в тихом уединении садов вблизи дворца, немедленно переселили за пределы акрополя, поближе к казармам наемных солдат. Наемники ненавидели Платона, который убеждал Дионисия отказаться от власти, распустить телохранителей и заняться философией. Ведь еще живы были слухи, как в свой предыдущий приезд Платон заставил Дионисия расстаться с тысячами солдат и сотнями триер. Наемникам нужны были деньги. Дионисий давал им постоянную работу, а к крови солдаты привыкли, и благородные идеи их ничуть не смущали. Участь Платона решалась здесь, в солдатских казармах, где никто никого не щадил. Платон, которому грозила смерть от руки наемников, тайно переслал в Тарент, к Архиту, письмо о своем отчаянном положении.

Архит, этот испытанный друг Платона, чувствуя свою вину (ведь он так настойчиво склонял Платона к поездке), на тридцативесельном корабле отправляет Дионисию под каким-то предлогом посольство во главе с Ламиском. Ламиск просит Дионисия отпустить Платона, напоминая, что Архит и тарентийцы в свое время поручились за его безопасность.

Дионисий, безудержный в гневе, но изощренный лицемер, более всего боялся дурной славы в мире просвещенных людей. Платона призывали во дворец, день за

днем устраивались в его честь пиршества, его осыпали подарками.

Ни Дионисий, ни Платон как будто даже и не вспоминали о страшных днях под угрозой смерти. Первым не выдержал молчания Дионисий, он заискивающе спросил: «Что же, Платон, ты, верно, много всяких ужасов нараскажешь о нас своим друзьям-философам?» Платон, тонко улыбнувшись, ответил, осмелев на прощание: «Помилуй, навряд ли Академия способна ощутить такую нужду в темах для разговора, чтобы кто-нибудь стал вспоминать о тебе». Так закончилась третья поездка Платона в Сиракузы. Усталый, больной вернулся Платон в родную Академию.

Весть о прибытии Платона застала Диона в Олимпии, на общегреческих играх. Он, возмущенный, призвал в свидетели Зевса, готовясь отомстить Дионисию за попрание гостеприимства и за свое изгнание. Однако Платон не хотел быть союзником в беспощадной борьбе давних врагов. Отныне он стал уже уклоняться от всех честолюбивых планов, которые строили его друзья вместе с Дионом, хотя и был готов дать им благой совет, если бы они пожелали свершить нечто доброе. Но все готовы были причинить Дионисию величайшее зло. Даже племянник Платона Спевсипп, забыв свою философию, ударился в политику: еще в Сиракузах он собирал для Диона сведения о настроении граждан. Дион, воодушевленный рассказами Спевсиппа, сплотил вокруг себя государственных людей и философов. Однако все это были чужеземцы. Из тысячи соотечественников Диона, находившихся, как и он, в изгнании, к нему примкнуло лишь двадцать пять человек. Все прочие устрашились и отступили.

Дион начал военные действия против Дионисия, и судьбе было угодно, чтобы Дион победил, а Дионисий ушел в изгнание и кончил жизнь всеми забытый где-то в Греции. Но хотя Дион еще в Академии научился искус-

ству укрощать гнев, зависть и недоброжелательство и вел скромную жизнь во дворце, словно он разделял трапезу с Платоном в Академии, а не был полководцем и владыкой Сиракуз, — он был уже обречен. Диону было важно, как отнесется к нему Академия, что скажет Платон об его умении распорядиться своим счастьем, не нарушает ли он закона справедливости, находясь на вершине власти. Более того, он мечтал осуществить их совместные с Платоном мечты о демократии, ограниченной наподобие спартанского или критского строя, то есть объединить власть народа с царской властью. Это вызвало упорное противодействие в Сиракузах и привело в конце концов к заговору и убийству Диона.

Так страшно закончились мечтания философа и практическое их воплощение политиком. Они стоили жизни одному из них и привели к глубочайшему разочарованию в реальной политике другого. На горьком опыте своих взаимоотношений с тираном Платон научился многому. Он убедился в том, что не только беззаконие и нечестие, но, главное, дерзкое невежество плодит всевозможное зло — горький-прегорький плод («Письма»).

С невежеством как злейшим пороком Платон боролся всю жизнь. Правда, он признавал, что во многих случаях способен лишь на слова, и с трудом берется за дела, отрываясь от своих философских трудов. Но, к чести Платона, оказалось, что он может пересилить себя во имя высших целей, хотя возможности его невелики по сравнению с записными политиками. В трудные минуты мысль о друзьях всегда поддерживала его, и он готов был участвовать в их предприятиях, если это были дела добрые. «Скликайте на зло других», — говорил Платон («Письма»). Ничто не может служить лучшим признаком достоинства или порочности человека, по мнению Платона, чем наличие у него или отсутствие верных друзей. Любовь к отечеству Платон считал величайшим даром. Подобно своему учителю Сократу, он считал,

что если государство управляется нехорошо, то его правителям надо советовать, увещевать их речами, даже если это грозит смертью. Избегать следует одного — насилия над родиной, то есть государственного переворота, если такие действия связаны с истреблением и изгнанием людей. «Уж лучше, — говорил Платон, — молиться о благе для самого себя и для государства».

Платон рассуждает здесь как философ-созерцатель. Но, несмотря на свою далекость от государственной практики, он ощущает великую притягательность мудрого философствования, к которому тянутся сильные и опытные в делах люди. Недаром он чувствовал в Дионисии его тайную честолюбивую страсть прослыть истинным философом и даже умудрился, будучи совсем беззащитным, влиять на него. А между тем, думал Платон, если бы философия действительно могла сочетаться с силой, то можно было бы доказать и эллинам и варварам, что разум и справедливость существенны для управления государством. Сила без разума рождает деспотизм. Любое же государство, и в том числе Сицилия, не должно находиться под властью деспотов, но управляться законами. Власть деспота развращает поработителей и поработленных, их детей, внуков и правнуков. Только мелкие и несвободные души, по убеждению Платона, навязывают деспотию, губительно действуя на себя и других. Поэтому борьба с деспотизмом — первейшая задача людей, даже если она грозит им смертью. Ведь пострадать, стремясь к прекрасному для себя и для государства, прекрасно и достойно человека. Правда, Платон, как всегда, преувеличивал влияние этих добродетельных и разумных людей, устанавливающих общие для всех правильные законы. Оказывается, достаточно на десять тысяч граждан избрать всего лишь пятьдесят мудрых старцев, как они составят законы, равные и общие для всего государства. Взявшие власть должны подчиняться законам даже с большей готовностью и непреложностью,

чем те, кто подчиняется этой власти. И вот тогда-то все преисполнится, мечтает Платон, «благополучия и радости».

Попытку такого гармоничного общества Платон, по его словам, хотел осуществить, опираясь на Диона в Сицилии. Однако некий рок, который сильнее людей, разметал планы неисправимого мечтателя.

Но Платон не унимается. Даже после гибели Диона он увещевает его друзей, чтобы они попытались выполнить неудавшиеся когда-то намерения, уповая на покровительство божественной судьбы.

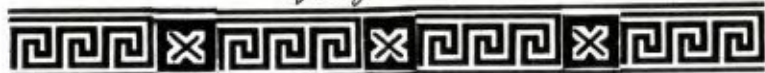
Разочарованный в исправлении и улучшении сиракузской тирании, на что было потрачено много лет жизни, Платон теперь ищет спасения в царской власти с ее старинными, даже патриархальными традициями. Философа ничуть не смущает, что в его время такой царской власти уже нигде не было. В его мечтах живет вечная идея древнего легендарного спартанского законодателя Ликурга, мужа мудрого и достойного. Это он, по преданию, ограничил царскую власть советом старейшин — геронтов и эфоров, наблюдавших за исполнением законов. Царская власть при этом не переродилась в тиранию, и закон стал владыкой над людьми, а не люди — тиранами над законами. Для Платона как подчинение, так и свобода, пренебрегающая границами, есть величайшее зло, а в надлежащей мере это — великое благо. Для разумных людей закон — бог, для неразумных — удовольствие. Подотчетная царская власть, охраняемая 35 стражами законов, избранными народом, и советом мудрых старцев, становится идеалом Платона, тем идеалом, который он пытается воплотить в своем последнем сочинении — в «Законах».

Размышления Платона о государстве, в котором все равны перед законом, а больше всего те, кто стоит у власти, так и остались добрыми упованиями. На практике никто из современных Платону законодателей не шел по его пути.

Известно, что Аристотель обладал, в отличие от своего учителя, большим чутьем и знанием реальной жизни. Поэтому его часто приглашали для составления законодательств в новые города и повсеместно разбросанные греческие колонии. Когда же аркадяне и фиванцы основали свою колонию Мегалополь, город, ставший большим и богатым, прославленный своим великолепным театром на 40 тысяч зрителей, они, по преданию, обратились за советом не к кому иному, как к Платону. Философ предложил им свой любимый образец государства. Но когда оказалось, что на всеобщее равенство перед законом устроители нового города не согласны, Платон вынужден был с горечью отказаться от своего проекта. На компромисс он не пошел, и добровольный отказ граждан от благодетельного ограничения крайностей свободы посредством добровольного служения закону поверг его в горестное изумление.

ПЛАТОН — ФИЛОСОФ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ

Верещагин



Платону повезло, как редко кому из античных философов, предшественников и современников. Завистливое время уничтожило сочинения Фалеса и Гераклита, Эмпедокла и Парменида, Демокрита и Анаксагора. Остались лишь одни фрагменты, а фрагмент означает осколок, кусочек чего-то разбитого. Ученым приходится по мельчайшим частицам собирать эти осколки, пытаться воссоздать представление о чем-то целостном, законченном, построенном по своим логическим законам. Философы Древней Греции писали, если судить по античным свидетельствам, очень много. До нашего времени дошли списки наименований этих утерянных впоследствии сочинений. Читая их, поражаешься: какая же сокровищница мысли погибла и сколько усилий требовалось поколениям ученых, чтобы реконструировать, привести в некую систему, понять, перевести и прокомментировать фрагменты некогда прославленных трудов! Вот почему осо-

бенно приходится ценить полноту, с которой предстает перед нами наследие Платона или сочинения его ученика Аристотеля. Поскольку это были люди необычайной образованности и широты интересов, они пользовались всяким случаем, чтобы не только высказать свои мысли, но и сослаться на предшественников, обратиться к их авторитету или поспорить с ними, процитировать и внимательно проанализировать строку философа или поэта, призвать на помощь слово учителя или полузабытого писателя. Полнота сочинений Платона помогает восстановить сложную картину истории греческой философии, культуры и литературы, атмосферу идейных споров, рождение научной терминологии, новых художественных форм, отточенного языка классической прозы.

Наследие Платона тем более интересно, что оно пока еще сочетает в себе черты истинной поэзии и чистой художественности с глубиной и сложностью философской мысли. Платон — это философ и тонкий стилист одновременно. Он не переступил черты, за которую шагнул Аристотель, навсегда исключивший атмосферу эмоционального искусства из языка научно-философского сочинения. Тем-то и интересен для нас Платон, что профессиональный философ со всей сложностью ученого инструментария мирно уживается в нем с мастером увлекательного рассказа, с поэзией вдохновенного мышления.

Мы являемся обладателями 23 подлинных диалогов Платона, одной речи под названием «Апология Сократа», 11 приписываемых Платону диалогов, 13 писем, многие из которых считаются подлинными. Еще в древности целый ряд диалогов исключали из сочинений Платона, хотя по давней традиции все эти вызывающие сомнения произведения все-таки всегда помещались в его полных собраниях.

Что касается хронологии написания диалогов, то точную датировку их зачастую трудно установить. Поэтому

диалоги подразделены на приблизительно устанавливаемые периоды творчества Платона.

Так, ранний период начинают со смерти Сократа и заканчивают первой поездкой Платона в Сицилию, то есть с 399 года до 389—387 годов. Это время написания защитительной речи Сократа на суде, так называемой «Апологии Сократа», «Критона», «Протагора», первой книги «Государства», «Лахета», «Лисия», «Хармида».

Каждый диалог данного периода посвящен выяснению нравственных вопросов — что такое добродетель, благо, мужество, почитание законов, любовь к родине, как это любил делать в своих беседах Сократ. Недаром Платон пишет постоянно в форме диалога. Это ведь есть не что иное, как воплощение в литературной форме знаменитых разговоров Сократа — с постановкой вопросов, с поисками ответов, с попыткой дать определения отдельным нравственным понятиям, а затем собрать их воедино и сделать вывод о том общем, что их объединяет. Платон находится под обаянием личности Сократа, который встает перед нами живым, пронизательным спорщиком и отныне не покинет диалогов Платона вплоть до самого последнего из них.

Трудно резко и определенно разграничить этапы творческой деятельности знаменитого философа. Здесь всегда есть какая-то неуловимость и недосказанность. Связующий характер ряда переходных моментов между намечаемыми границами здесь становится очевидным. Вот почему несколько диалогов, написанных Платоном в 80-е годы, так и называют переходными.

Среди них «Ион», «Гиппий больший», «Гиппий меньший», «Горгий», «Менон», «Кратил», «Эвтидем», «Мексен». Здесь впервые Платон устами Сократа начинает излагать свои собственные мысли, выработанные в основанной им Академии, отклоняется от вопросов исключительно моральных, чисто сократовских. Так появляется образ платоновского Сократа. Этот новый

Сократ есть результат философской самостоятельности Платона. Он все так же в центре беседы, ее главная пружина и направляющая рука. Но теперь он спорит с софистами, ополчается на отсутствие у них положительной истины и на их беспринципную риторичку, противопоставляя им постепенно вырисовывающееся свое учение о постоянных и неизменных идеях среди изменчивости бытия. Платоновский Сократ защищает стабильность мира и опровергает Кратила, последователя Гераклита, с его представлением о всеобщей и бесконечной текучести. Здесь чувствуется также влияние пифагорейских друзей Платона с их доктриной о переселении душ и судьбе человека в царстве смерти. Рассудительность и моралистика ранних диалогов постепенно уступают место утверждению отвлеченных идей.

Чем дальше идет Платон по пути выработки самостоятельных философских позиций, тем своеобразнее становится сущность и стиль его диалогов. В свой зрелый период творчества — в 70—60-е годы IV века до н. э., когда ему пришлось совершить второе и третье путешествие в Сицилию в возрасте шестидесяти и семидесяти лет, Платон отличается исключительной четкостью и плодотворностью философской мысли и остротой художественного видения. Диалоги «Федон», «Пир», «Федр», «Теэтет», «Тимей», «Критий», «Парменид», «Софист», «Политик», «Филеб», «Государство» (II—X книги) — сгусток учения Платона об идеях как самостоятельно существующем высшем бытии, определяющем всю материальную действительность. Отсюда замечательное в диалогах этого периода соединение труднейшего абстрактного «плетения» конструктивно-логической мысли и конкретно-осознаваемой красочности, доходящей до совершенства чисто художественного произведения, доступного и близкого каждому человеку.

Наконец, престарелый Платон в 50-е годы IV века до н. э. пишет огромное произведение «Законы», в кото-

ром пытается представить государственное устройство, отличное от идеального общества, описанного в его сочинении «Государство», доступное, как он думает, реальному человеческому пониманию и реальным человеческим силам. Хотя «Законы» обычно называют диалогом, но это скорее размышления Платона. Это размышления о чисто практическом воплощении высшей государственной идеи в приземленном, полном житейских забот человеческом существовании. Здесь впервые среди действующих лиц отсутствует неизменный Сократ. Платон оставил «Законы» в черновом виде, и они были после его смерти переписаны набело одним из ближайших его учеников Филиппом Опунтским. Так закончился последний период творчества Платона, но и началась новая жизнь его идей в грядущих тысячелетиях.

Платон один из первых заложил основы объективного идеализма, разработал его в целостном виде. Недаром имя Платона символизирует идеализм так же, как имя Демокрита — символ победного шествия материализма. Борьба тенденций или линий Платона и Демокрита, по мнению Ленина, не могла устареть за две тысячи лет развития философии. Чтобы понять хорошо современную философию и упорную борьбу, которую ведут в мире идеализм и материализм — две системы мировоззрения человека и общества, очень важно познакомиться с античными представлениями об этих системах.

В самом простейшем понимании идеализм основан на утверждении первичности идеи и вторичности материи. Материализм — это учение о первичности материи и производности идеи. Но, читая Платона или Демокрита, мы погружаемся в очень конкретные, именно античные философские системы, обусловленные особенностями древнегреческого общества периода классики.

Поэтому, прежде чем выяснить специфику платоновского идеализма, его завоевания и его потери, необходимо остановиться, хотя бы кратко, на том, как мировоз-

зрение древних греков на протяжении всей истории было постоянно связано с материальной и общественной жизнью.

Древнейший период освоения действительности античным человеком неотделим от общинно-родовой формации, основанной на коллективном труде общины, состоящей из ближайших родственников, на коллективном распределении и потреблении продуктов труда. Наиболее понятным и близким для древнего человека был не отдельный человек сам по себе и не природа сама по себе, а общинно-родовые и семейные отношения, глядя на которые человек объяснял непонятный ему окружающий мир. Весь мир, в котором живет член древней общины, воспринимается им тоже как огромная родовая община, как семья с родителями, детьми, дедами и предками. Поэтому жизнь богов во всем ее многообразии воспринималась в те далекие времена в рамках все той же родовой общины и обычных семейных отношений. Именно здесь истоки древнейшего освоения мира, которое мы называем мифологическим. Все главные, самые существенные представления о высшей красоте и благе воплощались в богах, демонических существах и героях, которые, по глубокому убеждению древних, управляли всем космосом и космической родовой жизнью. Притом главной первичной силой, порождающей божественный и человеческий мир, была мать-Земля, а боги имели бессмертное тело, состоящее из тончайшей материи. Так уже с давних пор греки — стихийные материалисты, ибо даже божественные существа мыслились у них вполне телесно.

С переходом к новой рабовладельческой формации, когда классовое общество оказалось разделенным на свободных и на рабов, создателем всех материальных благ стал именно родившийся в рабской зависимости человек. Организатором же его труда был свободный рабовладелец, но бездушный и безликий, ставивший

своей целью максимально использовать физические возможности раба. При господстве таких бездушных, механически внеличных отношений весь мир представлялся человеку как тело, как живой организм, но который, однако, направляет слепая и страшная неведомая сила — неотвратимая необходимость, судьба. Для гражданина рабовладельческого государства-полиса классической эпохи с ее уже развивающейся наукой самым прекрасным становится звездное небо, живущее по непреложным законам, и пять материальных стихий — земля, огонь, вода, воздух, эфир — в вечном круговороте веществ, то есть вся совокупность разумно организованного, телесного, чисто физического космоса. Как видим, стихийный материализм древних греков периода классики вне всякого сомнения.

Но в толще материального мира рождались силы, по представлениям древних, управляющие материей, однако сами нематериальные. Такой важный сдвиг во взглядах произошел в связи с постепенным развитием человеческой личности в недрах рабовладения и с интересом к духовной стороне человека. Так, у раннеклассических философов (VI—V вв. до н. э.) материальным космосом правит Логос—Слово (Гераклит) или Любовь и Вражда (Эмпедокл), а то Ум—Нус (Анаксагор) или атомы (Демокрит).

Философы средней классики (V век до н. э.) в лице софистов и Сократа выдвинули в космическом мире человеческое (антропологическое) начало во всей сложности внутренней жизни человека.

Платон, философ так называемой высокой классики (конец V — середина IV века до н. э.), сделал еще один важный шаг вперед. Его мир — и не телесный космос, лишенный индивидуальности, и не отдельные материальные вещи, наполняющие Вселенную. Платон совместил общее и частное, космическое и человеческое, телесное и духовное. Прекрасный, материальный космос, собрав-

ший множество единичностей в одно нераздельное целое, живет и дышит, весь наполнен бесконечными физическими потенциями, но зато он управляется силами, находящимися вне его, за его пределами и создающими общие закономерности, по которым развивается и живет весь космос. Это — особый надкосмический мир, и называется он у Платона миром идей, вечных и неподвижных в своей высшей красоте. Платоновские идеи, в которых обобщена вся космическая жизнь, хотя и находятся вне ее, но мыслятся не схематически — бесплотно, а силой вполне реальной и активной. «Идея» по-гречески означает «не-что видимое». Но увидеть ее можно не физическим зрением, а умственным — мысленно. (Греки всегда считали, что глазами можно мыслить, и высоко ценили так называемую «теорию», что по-русски хорошо передается как «созерцание» или «умозрение».)

Однако, несмотря на вещественно-зримое представление о мире идей, Платон все-таки остается идеалистом. Его идеи, управляющие Вселенной, первичны. Они определяют жизнь земного материального мира. Это — вечные образцы, «парадигмы»¹, модели, по которым строится вся множественность вещей, образованных из бесформенной, темной, текучей, бесконечной материи. Сама материя ничего не может породить. Она только «кормилица» или «восприимница», принимающая в свое лоно идущие от идей световые истечения, так называемые эманации. Сила пронизывающего, сияющего света, исходящая из идей, оживляет темную материальную массу, придает ей ту или иную видимую форму по образцу вечных и неизменно-прекрасных форм недоступного для грубого человеческого чувства мира идей. Идеи прекрасны, так как они не живут во времени, которое разрушает материальные тела, старит их, делает безобразными. Мир идей находится вне времени, он не живет, а пребывает,

¹ Греческое *paradeigma* — образец.

покоится в вечности. И самая высшая идея идей — это благо, тождественное абсолютной красоте. Это высшее благо и одновременно воплощение высшей красоты есть, по Платону, начало всех начал, отец, демиург¹, то есть буквально: строитель, умелый мастер, конструирующий видимый небесный и человеческий земной мир по самым мудрым, вечным и прекрасным законам. Но видимый физический мир, однажды созданный великим мастером по своему образу и подобию, то есть по образцу своей собственной идеи, подвержен тлению, деформации и старению. Так давайте же, говорит Платон, созерцать в мыслях великолепный, добрый, прекрасный мир надкосмических идей. Давайте хоть умственно шаг за шагом представим ту лестницу внутреннего совершенствования человека, которая приведет нас к познанию высшей идеи. Давайте в каждой материальной вещи отыскивать отблеск идеальной красоты, самую ее сущность, ее главное начало, которое обуславливает и оправдывает бытие вещи, наличие вещи в доступном для человека мире. Материальное бытие для Платона есть отражение, конечно достаточно искаженное, вечно-прекрасных идей. Но это материальное бытие мы, люди, должны любить и ценить. В глубинах его заключена красота, и дело человека вызывать эту красоту.

Для Платона познание мира, или, говоря философским языком, предмет гносеологии, заключается в проникновении сначала в идею, определяющую каждую отдельную вещь. Платон, как настоящий античный мыслитель, рисует нам этот процесс познания. Человек должен сначала изучить отдельно взятую идею, рассматривая ее внимательно, придирчиво поворачивая ее, чтобы обстучать со всех сторон, как глиняный сосуд, и почувствовать наконец по звуку, нет ли в этой идее трещины, верна ли

¹ Словом «демиург» в дальнейшем стали обозначать божество, творящее мир.

она, надежна, прочна? Когда же человек сумеет почувствовать и понять, «увидеть умом» прекрасную отдельную вещь, он познает, что такое прекрасное многих вещей. Проникнув в самую суть прекрасного материального тела, человек поймет и его прекрасную идею, то есть его как бы прекрасную душу. Итак, переходя от познания единичного прекрасного предмета к нескольким, а оттуда к еще большему их количеству и, наконец, к прекрасному множеству, постепенно можно подняться до самой общей идеи красоты, а значит, и самого общего понятия блага, которое воплощается в любви к миру прекрасных идей и прекрасных материальных тел. Таким путем можно познать всю действительность, в ее конкретном и обобщенном виде.

Это платоновское познание действительности, без которого немислим платоновский идеализм, по определению марксистской философии, называется объективным идеализмом. Здесь существует объективное, вполне реальное, независимое от сознания человека материальное бытие. Но бытие это все-таки порождается первично существующими, вечными идеями, и жизнь его целиком зависит от мира идей.

Платон, если сказать точнее, настоящий античный объективный идеалист, так как он выше всего ценит красоту живого материального космоса, явившегося как бы отпечатком вечной красоты абсолютной идеи. Платоновская идея — чисто античная, потому что она мыслится не как порождение субъективного сознания, а вечно сияет для человека вовне, отражаясь в осязаемой и видимой действительности. Только надо быть «любителем мудрости» — философом, искателем высшей истины, поэтом в душе, чтобы за внешней однообразностью жизни ощутить некую красоту, поверить в нее и вечно стремиться к этой прекрасной недостижимости.

Здесь, в этих поисках прекрасного, мы находим у Платона основу для создания его учения о выразитель-

ных и совершенных формах бытия, то есть того, что теперь именуют эстетикой. И на этой эстетике Платона тоже лежит печать идеализма, в сущности говоря, обедняющего и сужающего границы искусства и значение художника или поэта. Если красота материального мира, по Платону, есть только подражание красоте вечных идей, к которым этот мир жаждет приблизиться, то что же остается делать художнику? Тоже подражать. Но теперь — уже красоте материального мира, пытаюсь воспроизвести ее как можно более жизненно и точно. Но можно ли назвать это мастерство подлинным? Для Платона искусство ложно, так как оно подражает тому, что само является несовершенной копией и слабым отблеском высшей красоты неподвижного мира идей. Художники и поэты обречены у Платона на роль недостоверных и ложных подражателей. Им не место в идеальном государстве, где воспитываются гражданские добродетели. И лишь потеряв разум, впад в безумие (греческое слово «мания»), поэт, по убеждению Платона, открывает неожиданно мир идеальной красоты и, забыв о жалком подражании и правилах искусства, становится творцом, вдохновленным музами. Но как это бывает редко! И какой ценой это дается!

Вот почему, когда великий Аристотель, ученик Платона, пришел к мысли, что идея присутствует в каждой материальной вещи, что идея слита с материей, находится внутри нее, а не в занебесных высях, он сделал тот решительный шаг, который наметил в его, аристотелевском, учении материалистические искания. Аристотель вернул идею во всей ее полноте материальному миру, той земле, которую так любили и почитали греки. Этот мир лишился древних мифологических богов, но зато каждая частица материи обрела искони присущий только ей смысл своего существования. Материя и идея, или, как ее впоследствии называли по-латыни, форма, стали неотъемлемы и нераздельны, определяя собою друг друга.

Каждая вещь, как бы заряженная идеей, получила у Аристотеля возможность своего внутреннего, самостоятельного развития. А отсюда и художник воочию увидел красоту материи и стал познавать ее всесторонне как истинное бытие, а не как отблеск идеального мира. Аристотель сделал еще шаг вперед в понимании искусства, видя в нем не ложное подражание, а творческое воспроизведение жизни.

В конце концов, философские поиски Сократа и Платона оказались не так уж безнадежны. Сократ обратился к исследованию человеческого сознания и мышления, перейдя от смутных единичных ощущений жизни к общим понятиям, дающим смысл бытию. Платон всесторонне развил эти общие понятия, превратив их в некие самостоятельные и независимые от человека идеи. Аристотель увидел единство этого общего с каждой отдельной частицей материального мира, без которого сама общая идея теряет смысл своего существования. Так, со времен античности философия блуждала в поисках истины, выдвигая то идеалистические, то материалистические подходы к осознанию бытия.

Что такое Идеализм Платона?



Того, что сказано о мировоззрении Платона, вполне достаточно для общего обзора его философской деятельности. Однако это нам почти ничего не говорит об исторической значимости платонизма и ровно ничего не говорит о причинах этой исторической значимости. В самом деле, почему Платон был так необычайно популярен решительно во все века античной и всех последующих культур? Почему философская мысль в течение двух тысячелетий неизменно возвращается к Платону, с той или иной его интерпретацией? И почему его идеализм часто играл положительную роль, несмотря на многие и весьма значительные черты его вполне отрицательного влияния?

Что же такое вообще идея и почему этот термин всегда был так важен вплоть до настоящего времени?

100 Зададим себе вопрос: всякая вещь отличается ли чем-нибудь от другой вещи или не отличается ничем? Если

данная вещь ничем не отличается от всякой другой вещи, то это значит, что она не имеет присущего только ей свойства или качества, и тогда невозможно говорить о нашем познании этой вещи. Если мы знаем, что такое данная вещь, то, следовательно, она есть для нас нечто, а если нечто, то и нечто определенное, а если нечто определенное, то, значит, и совокупность тех или иных свойств. Стол есть нечто деревянное, это — раз. Стол есть приспособление для разного рода бытовых целей: для принятия пищи, для чтения и письма, для целесообразного помещения и размещения разных предметов. Это — два. Вот совокупность всех этих существенных свойств стола и есть его идея. Ясно, что если мы не понимаем устройство и назначение стола, то у нас нет и никакой идеи стола, то есть мы ровно ничем не можем отличать стол от стула, от дивана, от кровати, от стен комнаты, где находится стол, и так далее. Но мы вполне понимаем, что такое стол, каково устройство этого деревянного предмета и каково его назначение. Следовательно, если мы действительно познаем стол, то мы обладаем и идеей стола. Другими словами, идея вещи есть нечто существенно, жизненно и разумно необходимое для того, чтобы мы познавали эту вещь, общались с ней, пользовались ею, могли ее создавать, могли ее переделывать и могли ее направлять в тех или иных целях.

В этом отношении всякая вещь и вообще все, что существует на свете, имеет свою идею, свой, так сказать, смысл. Либо идей никаких нет, тогда вообще нельзя отличить одно от другого, и тогда вся действительность превращается в какой-то бесформенный и непознаваемый хаос. Идея вещи есть указание на совокупность существенных свойств вещи, на их состав и построение, на их устройство, и на их назначение, и вообще на их смысл. Однако для идеи вещи характерно не механическое соединение ее качеств или свойств, а неделимая целостность частей, составляющих вещь. Так, отдельные буквы

имени «Сократ» не могут пониматься без связи одна с другой. Если мы, произнося «о», уже забыли, что перед этим было «с», то есть если «со» не будет пониматься нами как нечто цельное и нераздельное, то у нас не получится ни имени «Сократ», ни вообще какого-нибудь слова. Мы не будем в состоянии ни говорить, ни понимать друг друга. Здесь, таким образом, перед нами как бы целостный организм, который содержит в себе то, что не содержится в каждой его отдельной части.

Если мы это себе усвоили, то мы можем пойти дальше. Именно, всякий спросит: каково отношение между так понимаемой идеей вещи и самой вещью?

Стол можно покрасить, стол можно сделать большим или малым, стол можно украшать или ремонтировать, стол можно разломать на отдельные куски, а эти куски сжечь в огне и, следовательно, превратить весь стол в пепел. Но можно ли то же самое сделать с идеей стола? Можно ли идею стола сделать светлой или темной, красной или коричневой, тяжелой или легкой? Можно ли идею стола понюхать и пощупать? Самый-то стол можно и понюхать и пощупать. А вот идею стола тоже можно ли пощупать и понюхать? Можно ли идею стола разорубить на куски и превратить в пепел? Конечно, сама-то вода замерзает и кипит. А вот идея воды может ли замерзать и кипеть или не может ни замерзать, ни кипеть?

Из этого простейшего наблюдения за самыми обыкновенными, за самыми обыденными и бытовыми вещами, явлениями и процессами с полной ясностью вытекает, как это скажет всякий человек с нормальной психикой, окончательная невозможность приписывать идеям вещей те или иные вещественные свойства. Идея вещи ни о чем другом и не говорит, как о самой же вещи, но удивительным образом эта идея вещи, вскрывающая все ее существенные свойства и качества, сама-то вовсе не есть что-то вещественное, и ей бессмысленно приписывать что-нибудь вещественное.

Да это мы и сами хорошо знаем, хотя бы из наших элементарных сведений по арифметике. Вот перед нами таблица умножения. Ведь всякому ясно, что дважды два—это обязательно четыре, а не пять, и дважды три—это обязательно шесть, а не семь. Ясно и то, что, не будь таблицы умножения, мы не могли бы считать, а не умея считать, мы не понимали бы, чем единица отличается от двойки и двойка от тройки, и, не зная всех этих элементарных отличий одного числа от другого, мы и вообще не могли бы воспринимать или мыслить. Но что удивительнее всего, это полная невозможность приписать таблице умножения какие-нибудь чувственно ощущаемые свойства. Что само яблоко имеет определенный вкус и цвет, это ясно. И что, желая умножить два яблока, например, путем увеличения в три раза, мы получаем шесть яблок, это тоже совершенно ясно. Но вот сама-то двойка и сама-то тройка имеет ли какой-нибудь цвет или не имеет никакого цвета, имеет какой-нибудь вкус или не имеет никакого вкуса? Два яблока я смогу пощупать и понюхать, и, увеличивая их количество в три раза, я могу и эти шесть яблок понюхать и потрогать руками. Но сама-то двойка пахнет чем-нибудь или не пахнет? И сама-то тройка имеет зеленый или красный цвет или не имеет никакого цвета? Ведь все время надо иметь в виду, что двойки и тройки относятся вовсе не только к таким вещам, которые можно понюхать и потрогать. Скрипичные струны, например, хотя и можно понюхать и пощупать, но когда мы слышим игру скрипача, то наши органы обоняния и осязания оказываются здесь ни при чем. Симфония ничем не пахнет, ее невозможно физически пощупать. А тем не менее физически она определенным образом нами ощущается, и в этом ощущении количественная сторона имеет огромное значение. Но по качеству своему здесь имеют место совсем другие чувственные ощущения и вовсе не цвет или запах.

Итак, если мы раньше сказали, что идея вещи, буду-

чи ее смыслом, совершенно необходима для ее существования и для нашего ее познания, то теперь мы должны сказать, и тоже с полной убежденностью, что идея вещи, вскрывая смысл вещи, то есть отвечая на вопрос «что такое эта вещь?», вовсе не сводится к материальной совокупности материальных свойств вещи, а есть нечто невещественное, нечто нематериальное, хотя указывает она только на что-нибудь материальное и только на что-нибудь вещественное.

Здесь, однако, возникает весьма существенная неясность. Как будто бы действительно это так: сама вода замерзает, а идея воды не замерзает. Но стоит только выставить этот тезис в более общей форме, как тотчас же возникает недоумение: каким же это образом идея вещи вдруг оказалась невещественной? Очевидно, здесь требуется какое-то весьма существенное разъяснение. Очевидно, здесь сам собой возникает вопрос о взаимном соотношении идеи вещи и самой вещи с точки зрения их происхождения, с точки зрения того, что же тут и из чего происходит и как возникает. Отвечать на этот вопрос можно разными способами. И чтобы понять, какой способ характерен для Платона, надо сначала попробовать представить себе, какие именно возможны здесь соотношения идеи вещи и самой вещи. Тогда будет ясен и тот путь, по которому шел Платон.

Формы соотношения идеи вещи и самой вещи, несмотря на их весьма пестрое разнообразие, в конце концов сводятся к двум основным. Скажем о них подробнее.

Одни мыслители рассуждают так. Да, говорят, вещи существуют, и их идеи тоже существуют. Это ясно. Но спрашивается, что же является из этих двух областей первичным и необходимым? Ну конечно, говорят, на первом плане выступают для нас вещи, то есть сама действительность, сама материя. Материю можно понимать по-разному, не только физически. Материю можно понимать и психически, и общественно, и исторически, и

просто как логическую категорию. Но как бы вы ни понимали материю, говорят эти мыслители, все равно без материи, без действительности, без вещей совершенно не может существовать и никаких идей. Если вещи существуют, то существуют и их идеи. А если бы никаких вещей не существовало, говорят эти мыслители, то не было бы и никаких идей. Значит, вещи и вообще материя есть нечто первичное, а идеи вещи есть нечто вторичное.

Очевидно, говорят нам, идеи есть отражение вещей, порождение вещей, результат соотношения вещей. Это не значит, утверждают такие мыслители, что никаких идей не существует или что они обязательно по своей природе тоже вещественны. Ведь отражение реальных вещей тоже вполне реально, тоже существует фактически. И, говорят, это отражение вещей совершенно своеобразно и, в частности, вовсе не вещественно. Можно признавать какие угодно невещественные идеи. Важно только то одно, что они суть порождения вещей и их отражения. Если признать, что в основе всех идей лежат вещи, то можно сколько угодно изучать и развивать эти идеи уже без обращения на каждом шагу к самим вещам. Нужно только признать, что таблица умножения возникла из наблюдения над вещами, а раз мы это признаем, то мы уже без труда и без всякого опасения впасть в ошибку можем строить нашу таблицу умножения без всякого внимания к реально существующим вещам.

Французский астроном Лаверье вначале совершенно не видел в телескоп никакого Нептуна. Он только хотел объяснить разные, требуемые законами механики, явления в Солнечной системе и для этого предположил существование особой планеты. И когда он вычислил время и место появления этой предполагаемой планеты, она как раз и появилась в этом месте и в это время, так что ее можно было вполне наблюдать и физически, при помощи телескопа. Итак, говорят эти мыслители, идея в случае Лаверье есть не что иное, как математическое вычисле-

ние, вполне самостоятельное, вполне независимое, вполне своеобразное и обладающее своей собственной, числовой логикой. Но ни Лавуастье, ни каждый из нас никаких идей, числовых или нечисловых, не мог бы себе и представить, если бы предварительно не существовали сами вещи и если бы предварительно мы не почерпали эти идеи из реального восприятия вещей, из чувственного и вполне элементарного их наблюдения.

Итак, вот первый ответ на вопрос об объективном соотношении идеи вещи и самой вещи: вещи и вообще материя первичны, а идеи вещей, являясь отражением, порождением и воспроизведением вещей, вторичны.

Учение о таком примате вещей над идеями вещей называется в философии материализмом.

Теперь посмотрим, что говорят другие мыслители. Они рассуждают так. Хорошо, материя первична. Но вы знаете, что такое материя? Материалисты говорят: да, знаем. Это есть принцип вообще объективного существования вещей вне и независимо от нашего сознания, несмотря на то что объективные вещи сколько угодно могут нами познаваться, могут быть предметом наших ощущений и вообще так или иначе входить в наше сознание и в наше мышление. На это говорят: так, значит, ваша материя есть нечто или, может быть, ничто? Но сказать, что материя есть ничто, никакой материалист не может. Значит, как бы ни определять материю, она во всяком случае и для философа-материалиста, и вообще для всякого здравомыслящего человека есть нечто, то есть является носителем тех или иных существенных свойств, качеств, признаков, отношений. Но тогда, если материя действительно есть нечто, если она действительно познается, то уже по одному этому она содержит в себе также и свою собственную идею, так как совокупность известных свойств или признаков, как мы видели выше, это и есть идея. Поэтому, говорят, бессмысленно противопоставлять материю и идею, да еще требовать пони-

мать эту идею как отражение материи. Ведь уже сама материя не существует без идеи материи. Уже сама материя пронизана своей собственной идеей. Иначе материя превращается в глухую и слепую бездну непознаваемого, о которой ничего нельзя ни сказать, ни помыслить.

Такого рода философия, которая не признает примата материи над идеей, но признает идеи определяющими наличие материи, предшествующими ей, называется идеализмом. Итак, если материализм является учением о примате материи над идеей, так что здесь идея есть только отражение материи, то идеалисты говорят, наоборот, о примате идеи над материей.

Это — дилемма всегдашняя и, можно сказать, неискоренимая. Все хотят быть либо материалистами, либо идеалистами. Правда, необходимо признать, что материализм и идеализм являются только предельными и логически выдержанными до конца философскими позициями. Фактически в истории домарксистской мысли эти точки зрения выступали иной раз в смешанном, нечетком и даже весьма запутанном виде. Одни мыслители только еще тяготели к материализму и были не в силах проводить его до конца. Другие — только еще тяготели к идеализму и тоже были не в силах проводить свою точку зрения до конца. Вот теперь и возникает вопрос, какую же позицию занимает Платон в этой всемирно-исторической борьбе идеализма и материализма. Ответить на этот вопрос не так просто. И большинство ответов на этот вопрос часто страдает и неполнотой, и во многом даже прямой ошибочностью.

Прежде всего, для всякого непредубежденного читателя ясно и бесповоротно наличие у Платона именно идеалистического мировоззрения, то есть наличие у него во всяком случае примата идеи над материей. Больше того, Платон является даже общепризнанным основателем европейского идеализма. Он впервые дал идеалистическое обоснование примата идеи над материей.

И в этом смысле он, можно сказать, был и остается главой и учителем идеалистов. Но этого мало. Нам надо понять, почему Платон так восторгается своими идеями и почему его последователи упорно отстаивали свой идеализм.

Если мы станем заниматься вопросом о том, как возникали новые проблемы в философии, то удивимся, с каким энтузиазмом и восторгом, а иной раз даже фанатизмом ставится новая проблема и с какой настойчивостью и упорством дается новое решение той или иной проблемы — иной раз даже и старой. Например, сейчас нас уже не удивляет и не поражает разница между мыслью и чувством, мышлением и ощущением. Но в свое время в Древней Греции, а именно в философской школе элейтов у Парменида, Ксенофана и других, открытое ими впервые различие между мышлением и ощущением вызвало неистовый восторг, изображалось в загадочных поэтических символах и даже воспевалось в стихах. А все дело только в том, что вместо мифологии, в которой не было различия между мышлением и ощущением, у древних греков возникло совершенно новое осознание мира, которое как раз отделяло мысль от чувственного восприятия жизни, выдвигало на первый план роль человеческого ума, преклонение перед мыслью человека, познающего бытие. Такое разрушение древней, вполне наивной и буквальной мифологии вызывало безумный восторг и вело в дальнейшем к преувеличению и, можно сказать, обожествлению интеллекта, а значит, и идеи.

Приведем другой пример. В Древней Греции арифметика и связанные с ней представления о числе, величине и операциях над числами тоже было величайшим открытием. Люди изумлялись, что числа действуют строго и определенно, что без них нельзя обойтись не только в науке, но и в самой обычной жизни, что без чисел и величин невозможно само познание вещей. Без единицы и двойки нельзя обойтись даже в такой простой вещи,

как отличие одной собственной руки от другой. Когда была открыта подобная всеобщая значимость числа, то числа стали восхвалять, превозносить и даже обожествлять. Появились философы-пифагорейцы, которые прямо стали говорить, что числа — это боги, а боги — это в первую очередь суть числа. Конечно, на первом плане здесь была единица, и ей воздавались божеские почести. На втором месте — двойка, без которой невозможно выйти за пределы единицы. Обожествлялась тройка, четверка, семерка, десятка. Да и вообще восхвалялись и обожествлялись все числа, какие только существуют. В Древней Греции были даже целые трактаты о божественных и мифологических свойствах чисел первого десятка. Сейчас начинающий школьник знает, два да один — это три, а три да один — это четыре и что сумма первых четырех чисел составляет десятку. Но у древних греков мы находим такое объяснение этих элементарных операций счета, которое прямо нужно назвать не только философским, но даже мифологическим, религиозным и прямо сказочным. Причем эта философия чисел была очень глубокая и малодоступная для широкой публики. Открытая еще пифагорейцами в VI веке до н. э., она сохраняла свое значение в течение целого тысячелетия — до самого конца античности.

Теперь мы спросим: могло ли равным образом открытие разницы между идеей вещи и самой вещью остаться в Древней Греции незамеченным, как некий безразлично-житейский факт? Нет, это мыслилось небывалым торжеством науки, каким-то поэтическим восторгом, каким-то сказочным и даже мистическим умилением. Одни философы, как, например, Демокрит, прославили вечность, неисчерпаемость и бесконечную мощь материи, порождающей мир вещей.

Другие, как Платон, восторгались существованием идей, восхваляя их бытие и доходя даже до прямого обожествления. У Платона мы находим не только примат

идеи над материей, но идеи образуют у него свой особый мир, подчиненный собственным законам с их всемогущей и вездесущей значимостью. Идеи — нечто божественное, если не сами боги. Они изливают свою мощь на весь мир и решительно на все, что находится в мире.

Отношение к идеализму Платона в течение веков было разным. Платона восхваляли за то, что он признавал существование идеального мира, красоты, истины и добра и отводил этим высоким предметам подобающее место в космосе, что он не разменял возвышенных человеческих идеалов на мелочи и пустяки. Поклонники Платона говорили, что мир идей есть принцип и опора для всех лучших и высших стремлений человеческой души.

Противники Платона критиковали обожествление идей и абсолютное преклонение перед этим идеальным миром. В пылу полемики все, что было связано с именем Платона, представлялось отсталым, ненаучным.

Как же нужно поступать нам, решая эту большую, если не сказать, великую проблему — что можно считать самым существенным у Платона и что является главным недостатком его философской теории?

Прежде всего, мы бы сочли необходимым отделить эмоциональную сторону этой проблемы от научно-исторической. Можно предоставить читателю право восторгаться Платоном или его осуждать. Но невозможно не признать, что самое важное у Платона — это открытие самого факта существования общих идей, необходимости их для познания вещей и их невещественный характер.

Ведь действительно, если общая идея, как ее понимает Платон, есть закон для всех подчиненных ей единичных вещей и без этой связи с вещами остается чем-то мертвым, неподвижным и бессмысленным, то, с другой стороны, по Платону, и все единичное обязательно понимается только в связи с тем общим, с той общей идеей, представителем которой является данное единичное явление вещи. Действительно, если вода, которую

мы пьем, есть именно вода, то и вода, в которой мы полощем белье, тоже есть вода. В ручье и реке — тоже вода, дождь падает на землю тоже в виде капель воды. И стоит только представить себе, что вода во всех этих случаях не есть именно вода, то есть стоит только отказать нашей идее воды в обобщенности, как тотчас же пропадает не только идея воды, но и сама вода, и не только сама вода, но и все ее частичные и единичные свойства, проявления и состояния. Платоновская идея есть закон вещи и тем самым та ее общность, которая определяет собою и все единичное, и единичное при этом только и осмысливается через свою общность.

Итак, Платон мыслит идею вещи как ее предельное обобщение. Можно выразиться иначе.

Можем ли мы говорить об единице, если дальше не мыслится перехода к двойке? И можем ли мы говорить о двойке, если нет никакой возможности перейти от нее к тройке? Ясно, что единица требует двойки, а двойка требует признания тройки. Но до каких же пор мы будем перечислять числа, до какой границы, до какого предела? Всякому ясно, что никакого такого предела установить совершенно невозможно. Возьмем ли мы миллион, или миллиард, или триллион, везде в этих случаях можно прибавить еще хоть одну единицу. Следовательно, если для числового ряда нет предела, то ясно, что этот предел есть бесконечность. Хотим ли мы этого или не хотим, но бесконечность все-таки существует, и идея у Платона как раз и есть бесконечность, то есть бесконечный предел, бесконечное обобщение для всех отдельных вещей, подпадающих под эту идею.

Не будем говорить о бесконечно большом числе, а возьмем, наоборот, расстояние между двумя рядом стоящими и вполне конечными числами на числовой оси. Возьмите, например, расстояние между единицей и двойкой и начните делить это расстояние на какие-нибудь более мелкие части. И получится, что, сколько бы

мы ни производили делений и какие бы мелкие дроби здесь ни получались, мы совершенно никогда не дойдем до единицы. Точно так же и единицу мы можем дробить как угодно, и мы никогда не дойдем до нуля. Другими словами, между каждой парой двух соседних и вполне конечных чисел натурального ряда залегает целая бесконечность дробных величин и исчерпать эту бесконечность невозможно. Можно только перепрыгнуть от одного числа к другому и совершить числовой скачок, не обращая никакого внимания на проходимый при этом нами путь. Конечно, двойку мы можем разделить на два и получить единицу, но это будет скачок от двойки к единице, а не прохождение всего того реального пути, который ведет от двойки к единице или от единицы к двойке. Другими словами, бесконечность содержится в каждой отдельной вещи, так же как в единице содержится бесконечное количество дробей, отделяющее ее и от нуля и от двойки. Следовательно, всякая нами установленная идея вещи есть не только ее наивысшее обобщение, но и ее предел. И этот предел бесконечен для всех конечных состояний и проявлений всякой единичной вещи, заключающей в себе эту идею.

Обратимся к геометрическим фигурам или телам. Те круги и шары, с которыми мы имеем дело в нашей повседневной практике, никогда не отличаются абсолютной точностью. Окружность деревянного или железного круга может иметь на себе разного рода углубления, зазубрины, искривления. И если бы мы всерьез стали принимать во внимание все эти реальные и практически ощущаемые нами неправильности в построении окружности бесконечно разнообразных кругов, то ясно, что мы не смогли бы ни в каком случае построить научную геометрию круга. Только отвлекаясь от всех этих фактических неправильностей наблюдаемых нами реальных кругов и только начиная видеть, что в основе всех этих вещей — собственно неправильных кругов лежит одно и только одно

идеальное представление о круге, или, так сказать, платоновская идея круга, мы можем приступить к построению геометрии как точной науки. Даже можно сказать больше. Мы и реальные-то неправильно построенные круги и шары только и можем мыслить и воспринимать при условии наличия в нашей мысли и в самой действительности именно этого идеального круга. Можно упрекать Платона в том, что он заставляет видеть реальные шары на земле, а идеальные и точно геометрические шары — только на небе. Дело тут не в земле и не в небе. А дело в том, что все конечное требует признания бесконечности, все реальное требует признания идеального и все единичное управляется общим как своим законом, а всякий общий закон имеет смысл, только если существуют единичные вещи, которые он обобщает и осмысливает.

Наконец, и в своей общественной философии Платон проводил свое учение об идеях с необычной верой в человеческий разум и с упованием на всемогущую силу идеального мира. Он наивно убежден, что достаточно только правильно созерцать идеи, как уже вся общественная жизнь тоже станет идеальной. Поэтому во главе спроектированного им идеального государства стоят именно философы, которые созерцают свои вечные идеи и, созерцая, управляют всем государством. С сегодняшней точки зрения это, конечно, представляется нам консервативным и даже реакционным. Однако у Платона это была пока еще только наивность веры во всемогущество максимально общих, то есть предельно обобщающих идей-законов. Проповедь Платоном этого неподвижного идеального общественного строя была результатом гиперболизированной веры философа в разумное господство идей. Именно эта гиперболизация и абсолютизация мира идей приводила к таким крайностям, которые иной раз обесценивали достижения античного философа.

Платон то и дело бросается в безбрежное море свое-

го ничем не ограниченного идеализма. Вот, например, он начинает строить отвлеченнейшие и труднейшие теории идей в отрыве от всякого их реально-жизненного назначения. Во второй части диалога «Парменид» он предается тончайшей эквилибристике учения об идеях. Но на этих логически-абстрактных рассуждениях Платон даже сам не может удержаться, и в диалоге «Тимей» он уже создает свою теорию материально-прекрасного космоса. В «Тимее» невозможно найти никакого намека на философию, которая проповедуется в «Пармениде».

Великолепная жизненная картина постепенного познания любви и красоты в «Пире» сменяется в диалоге «Софист» совсем другим способом размышления. Здесь Платон достигает искомого определения софиста с помощью удивительной изобретательности в построении абстрактно-логических суждений.

Впадая в восторг перед миром идей, Платон доходил до мысли о полной изолированности мира идей от мира вещей. Вот почему знаменитый ученик Платона Аристотель, вообще говоря, совершенно прав, когда упрекает Платона в проповеди абсолютно изолированных идей. Аргументация Аристотеля очень проста. Он спрашивает: может ли идея или сущность вещи существовать отдельно от самой вещи и не будет ли больше соответствовать действительности, если мы эти идеи-сущности вещей поместим в недра самих же вещей? Действительно, при чтении тех из сочинений Платона, где проводится такое изолированное понимание идей, сам собой возникает вывод о полной беспомощности таких идей, которые находятся вне самих вещей и которые сами являются какими-то сверхчувственными вещами, не влияя на реальную жизнь, никак ее не осмысливая и никак не служа целям человеческого познания бытия.

Ленин писал: «Критика Аристотелем идей Платона есть критика идеализма как идеализма вообще». Правда, отдавая дань живым и вполне реалистическим исканиям

Аристотеля, Ленин учитывал, что Аристотель достаточно далек от диалектики общего и отдельного понятия и чувственно воспринимаемой реальности отдельного предмета, вещи или явления. А это привело к тому, что свою правильную критику платоновских идей Аристотель не смог довести до конца и не учел многого, что на эту тему имеется у Платона.

Очень важно то обстоятельство, что Платон хотя и считался безусловным авторитетом в разные эпохи у различных мыслителей, но авторитет этот зачастую привлекался для защиты и развития многих идеалистических теорий и построений давно ушедших в историю идеалов.

То преувеличение роли идей, которое уже было у Платона, доходило у его поздних последователей до такой крайности, когда оказывалось, что перед величием идей меркнет и исчезает целиком объективный материальный мир. Он оказывается только порождением идеи, находящейся в сознании каждого отдельного человека. Так, объективный идеализм открывает дорогу идеализму субъективному: окружающий нас мир целиком зависит от внутреннего «я» человека, или, что то же, от его «идеи». Нельзя не вспомнить здесь слова Ленина о том, что «с точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть *одностороннее* преувеличенное... развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолюте, *оторванный* от материи, от природы, обожествленный».

В средние века учение Платона использовалось для обоснования христианской, иудейской и магометанской религий, хотя все эти религии относились, безусловно, отрицательно к античной языческой религии. Платон толковался ими в духе представления о едином творце мира, а отнюдь не в духе языческого многобожия.

И Кант, и Гегель, и Шеллинг, и вообще все представители нового и новейшего идеализма тоже в конечном

счете опирались на Платона с его учением об идее как смысле и принципе всего бытия, по-разному, однако, представляя возможность или невозможность познания идей и активность их роли в истории общества и человека. Идеализм Платона давно ушел в историю, но от этого он не перестал воздействовать на современность.

То или иное заострение, преувеличение, абсолютизация идеи обязательно приводит к учениям идеалистического склада, к незрелым, утопическим и часто даже объективно вредным теориям, искажая и затемняя реальное видение исторической и индивидуальной жизни человека.

В наследии Платона до сих пор сохраняют свое значение те положительные стороны его учения об идеях, которые и позволили считать Платона великим философом. В итоге оказывается следующее:

1. Для того, чтобы различать вещи и не оставлять их малопознаваемыми или совсем непознаваемыми во всеобщем хаосе действительности, мы должны стремиться относительно каждой вещи ответить на вопрос: что такое данная вещь и чем она отличается от всех прочих вещей? Идея вещи как раз и является ответом на вопрос, что такое данная вещь, и потому идея вещи в первую очередь есть смысл вещи.

2. Идея вещи есть такая цельность всех отдельных частей и проявлений вещи, которая уже не делится на отдельные части данной вещи и представляет собою в сравнении с ними уже новое качество. Одна сторона треугольника не есть весь треугольник. Так же и другая, так же третья сторона. Тем не менее из-за определенного объединения трех отрезков получается нечто новое, новое качество, а именно треугольник. Итак, идея вещи есть цельность всех составляющих ее частей, неделимая на эти части.

3. Идея вещи есть та общность составляющих ее особенностей и единичностей, которая является законом

для возникновения и получения этих единичных проявлений вещи. То, что идея вещи есть общий закон, осмысливающий появление и проявление отдельных ее единичных особенностей, видно на любых вещах, и чем вещь сложнее, тем сложнее проявляются закономерности ее идеи. Уже простой механизм, как, например, часовой механизм, свидетельствует о том, что составляющие его колесики или винтики расположены согласно некоторой общей идее, без внедрения которой эти колесики и винтики остались бы вполне чуждыми друг другу и никакого часового механизма не образовали бы. Всякое химическое соединение тоже образуется по определенному закону природы, как, например, соляная кислота возникает по общему закону, согласно которому и нечто целое объединяются один атом водорода и один атом хлора. Точно так же, сказавши: «Иван есть человек», мы отдельного Ивана рассмотрели в свете человека вообще, а человека вообще рассмотрели как закон, осмысливающий существование и каждого отдельного человека. Идея — есть закон.

4. Идея вещи невещественна. Это ясно из того, что сама вода может замерзнуть и кипеть, а идея воды не может ни замерзнуть, ни кипеть. Сама вода может быть твердым и жидким телом, а также может испаряться. Но идея воды не есть ни твердое, ни жидкое, ни газообразное тело и вообще не есть тело.

Кто будет возражать, что идея есть принцип осмысления вещей, что это их общая целостность, являющаяся законом их отдельных проявлений? Всеобщую закономерность вещей, конечно, можно не называть идеей или совокупностью идей, но от самой этой всеобщей закономерности вещей наука отказаться не может. Законы природы и общества тоже можно не называть идеями природы и общества, но от самих этих законов отказаться невозможно.

Эти очевидные тезисы древнего философа ни у кого не вызывают сомнения, и любая современная философия, любая наука и даже просто практика жизни без них не обходится.

По своему содержанию современное передовое мировоззрение материалистично. Но в смысле своего научного обоснования, в смысле своего постоянного стремления оформить хаос жизни в виде тех или иных формально-безупречных структур, — в этом смысле наша передовая наука помнит, что цельная идея хотя только и состоит из своих частей, но ими не ограничивается, что цельная идея есть уже новое качество в сравнении со своими отдельными частями, так что целое в одно и то же время и состоит из своих частей и вовсе из них не состоит. Как учат нас химики, вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Но ведь водород еще не есть вода, и кислород еще не есть вода. Откуда же вдруг взялась вода? А вот это и значит, что вода хотя и состоит только из водорода и кислорода и не из чего другого, тем не менее она, взятая как целое, вовсе не сводится ни к водороду, ни к кислороду, ни к их комбинации. Но ведь это же и значит, что вода, будучи насквозь вещественной, обязательно обладает такой идеей, которая невещественна, и хотя вода и состоит из водорода и кислорода, тем не менее обладает гораздо более общим содержанием.

Воду мы употребляем в пищу, в воде мы моемся, водой поливаем растения, воду проводим в трубах, которые так и называем водопроводом. Вода образует собою источники, ручьи, реки, пруды и озера, моря и океаны. Благодаря воде существует неисчислимое количество живых существ. Вода изливается в виде дождя, испаряется в виде пара, переходящего потом в облака и тучи. Словом, употребивши термин «вода», мы бесконечно далеко ушли и от всякого водорода, и от всякого кислорода. Термин «вода» — а это значит прежде всего и идея воды — является настолько большим обобщением, охва-

тывает такое неисчислимое количество областей действительности, обладает таким бесконечным разнообразием функций, о которых никакой химик не расскажет в тех главах своего учебника, которые трактуют только о водороде или только о кислороде. Да, ничего не поделаешь: чтобы употреблять только самый термин «вода», уже приходится как бы стать платоником, хотя по своему научному содержанию современная химия не имеет ничего общего с античным платонизмом.

Наше познание природы и общества основывается на открытии точных законов, которые должны объяснить все существующее. Но ведь Платон жил почти две с половиной тысячи лет назад. В те времена искание законов природы и общества только еще начиналось и толкование их было достаточно наивным. Поэтому для объяснения явлений природы служили древние образы богов или демонов, по-своему объясняющие все существующее. Идеи Платона есть не что иное, как в наивной форме данные законы природы и общества, сменившие старую мифологию, столь критикуемую Платоном. Они — принцип всего происходящего. Наивность этих рассуждений Платона вполне ясна и бесспорна. Однако стремление отыскать законы и принципы всего происходящего свидетельствует о глубочайшем перевороте в человеческой мысли. И здесь Платон занимает вполне передовую и, без преувеличения можно сказать, революционную позицию.

А разве наша повседневная, чисто практическая жизнь никак не связана с представлением об идеях? Если мой собеседник начинает мне доказывать, что нужно опираться только на чувственно данные факты, что наше поведение преследует только конкретные, осязаемые действия и цели, то я его в этих случаях спрашиваю: «Так что же, значит, вы проповедуете полную безнадейность? И вы хотите, чтобы у нас была только практика, лишенная всякой теории и всяких высших идей?»

Тут мой собеседник из элементарного позитивиста вдруг оказывается самым принципиальным платоником. «Как, — говорит он, — вы думаете, что у меня нет никаких идей, вы думаете, что я веду себя безыдейно, вы хотите сделать меня каким-то беспринципным эгоистом и вульгарным материалистом? Как же я буду строить свою работу, если у меня нет никакого плана, если у меня нет никакого принципиального подхода к этой работе, если я не преследую в ней ровно никакой цели, ровно никакого смысла, нет, нет! Наша практика вполне идейна, и без принципиальных идей мы не сможем построить ровно ничего разумного и целесообразного, ничего, ведущего нас к осуществлению наших идеалов». После этого читатель пусть судит сам, исчез из нашего современного сознания всякий «платонизм» до конца или не исчез.

Но вот, когда Платон, непомерно преувеличивая и даже обожествляя свое учение об идеях, утверждает, что идея вещи обладает своим собственным и вполне самостоятельным, хотя и идеальным существованием, что она тоже есть особого рода идеальная вещь, или субстанция, которая в своем полном и совершенном виде существует только на небе или выше неба, — здесь он уже не выдерживает критики времени и вполне достоин упреков как объективный идеалист. Платон чрезвычайно противоречив. Логически заостренное учение Платона об идеях насквозь пропитано наивной верой древнегреческого мыслителя во всемогущество человеческого разума, который стремится правильно воспроизводить на земле вечные красоты всемогущих идей. И только понимая всю эту противоречивость античного философского гения, мы становимся на путь правильного анализа учения Платона об идеях, его существа и его исторической значимости.

Диалог Платона- драма мысли



Что же представляют собой диалоги Платона в художественном плане?

Платон с юности обладал незаурядным талантом поэта, драматурга и ваятеля. Изящные эпиграммы, которые связывают с именем юного Платона, до сих пор производят впечатление чистейших жемчужин поэзии. Тот страстный порыв, который толкнул Платона на встречу Сократу и перечеркнул его увлечение искусством, говорит нам о глубоко восторженном и творческом начале в характере Платона. Здесь сказались присущая Платону эмоциональность и чуткое ощущение жизненной стихии. Отказавшись от искусства, от профессиональной разработки различных его областей, Платон не перестал быть поэтом и художником, который, однако, воспринимал бытие, обогащенный нелегким опытом жизни, уже не в безмятежных, а в остродраматических тонах.

Из этого драматизма жизненных ситуаций рождается форма платоновского диалога для того, чтобы укрепиться и развиваться в дальнейшей истории философии и литературы не только античности, но и Нового времени.

Поразительная вещь: Платон совершает целый переворот в манере философского изложения. Древнегреческая философия доплатоновского времени, или, как ее еще называют, досократовская, излагала свои идеи часто в форме загадочно-афористичного мудрого поучения, в стихах или прозе. Сам предмет размышления философов VI—V веков до н. э. был ограничен природой и свойствами пяти элементов, ее составляющих: земли, воды, огня, воздуха и эфира. Безликая, таинственная и безграничная материя дышала, жила, растекалась, пылала огнем, вбирая в себя человека как мельчайшую частицу великой матери-природы. Здесь не пробуждались ум и страсти человека, этой пылинки вечного круговорота, ибо она не жила самостоятельной жизнью и как бы приросла к материнскому лону природы. Нужен был гений Гераклита, чтобы проникнуть в страшные катастрофы жизни и смерти Вселенной, в ее бесчисленные рождения и умирания, где уже начал устанавливать свои надприродные закономерности огненный логос, слово, мерно вспыхивающее и затухающее, и где неутомимые богини-мстительницы Эринии уже наводили твердый порядок, не давая Солнцу сойти со своего пути, если бы оно захотело это сделать. В огненном логосе, как он ни был надчеловечен, было предчувствие какой-то неисчерпаемой человеческой силы, ибо логос — это и есть слово, а слово вне личности не существует.

Надо было обладать гением Парменида, чтобы в таинственном беге колесниц Ночи и Дня, погоняемых Справедливостью — Дикой, прозреть рождение и умирание не природных сил, а человеческих мнений, ложных и истинных, противопоставить неуловимую текучесть чувственного ощущения твердой уверенности разумной

мысли. Так, человеческое разумно мыслящее начало пробивало путь сквозь толщу вечной, невозмутимой среди своих подспудных катастроф, безликой природы.

Беспокойный V век до н. э. выдвинул свободного человека как сгусток энергии и самостоятельности, какие только возможны в рамках рабовладельческого общества, и тем самым встал на путь антропоцентризма¹, прогрессирующего с каждым десятилетием. Отсюда та невероятная страсть к слову и преклонение перед его силой, которым отличались греки. Ведь всякий грек издревле славился как заядлый разговорщик, а гомеровские поэмы удивляют и до сих пор обилием и умелым построением речей. Греки, можно сказать, абсолютизируют слово, делая его владыкой всего сущего, а среди богов почитают Пейто — богиню убеждения. Если софист Горгий мог в блестящей речи виртуозно восхвалять Елену, превратив все ее недостатки в величайшие достоинства, если греки упивались словесным состязанием актеров, испытывая ужас и сострадание на трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида, если Сократ собирал вокруг себя толпы жадно слушающих философские споры, то Платону уже ничего не оставалось, как живейшим образом представить движение человеческой мысли от заблуждения к истине в виде драматического диалога-разговора горячо заинтересованных спорщиков.

Древнейшая греческая литература началась с величано-грозного эпоса, затем перешла к беспокойной лирике, далее к ужасам и аффектам трагедии и, наконец, к той прозе, которая совмещала в себе лиро-эпическое и драматическое начало. Античная философия, как и античная литература, немыслима без вечной постановки все новых и новых вопросов, без напряженных исканий

¹ Антропоцентризм — выдвижение человека на первое место в жизни общества и природы.

ответа на них, без страсти к спорам, к самым извилистым приемам мысли, без восторга перед изобретательностью речи и цветистостью риторики.

За долгие годы творческой деятельности Платона характер его диалога заметно менялся. Сам по себе диалог является неперменным элементом драмы. Однако драматичность может быть разная. Бывает драматизм сюжетной завязки, драматизм ситуаций, а бывает внутренний драматизм борющихся идей, противоположных убеждений, отчаянно защищаемых спорящими сторонами.

У Платона мы находим все оттенки и градации драматически напряженного действия, внешнего и внутреннего.

Более драматичны внешне и внутренне произведения Платона, построенные на остром сюжетном материале, связанном с трагическими событиями из жизни Сократа. Здесь даже не обязательна диалогическая форма. Так, например, защитительная речь Сократа перед судом, его «Апология», есть не что иное, как монолог. Однако этот монолог построен на острейшей драматической ситуации.

Здесь перед нами одинокий герой, который вынужден бороться с клеветой, не имеющей никаких достоверных доказательств. Он сражается как будто с бесплотными тенями, тенями необоримыми в единодушной завистливой злобе против того, кто недосыгаем по высоте духа, честности мысли и доброте сердца. Чувство обреченности героя подчеркивается размышлениями Сократа вслух, воспоминанием о тех моментах жизни, когда он тоже стоял перед выбором — покориться или идти своим путем, сохраняя честность и борясь за справедливость. Безысходной обреченностью окрашен весь этот безупречный по логике монолог. Но какая может быть логика перед шумящей толпой, которой ненавистен не похожий на нее человек? Сократ осужден на смерть демократической властью, так им почитаемой.

Платон создает в «Апологии» сильного мыслью, но беспомощного и бесправного героя. С начала и до конца монолог Сократа построен по принципу трагической иронии, о которой через много лет будет писать Аристотель, занимаясь классической драмой. Человек думает, что он может предусмотреть надвигающиеся события, разгадать их, предупредить, а судьба смеется над его беспомощностью, земной ограниченностью. Тезис Сократа «Я знаю то, что я ничего не знаю» получает свое трагическое подтверждение в монологе любимого героя Платона.

Напряженный драматизм положений, противопоставленный безупречному внутреннему спокойствию духа Сократа, раскрывается в диалогах «Критон» и «Федон». «Критон» по времени написания примыкает к «Апологии», а «Федон» — произведение зрелого периода, однако построение диалогов одинаково, так как их связывают события последних дней жизни Сократа.

В диалоге «Критон» всего два действующих лица — Сократ и его друг Критон, оба старики, ровесники, родом из одной округи. В «Федоне», кроме Сократа и Критона, много персонажей: философы-пифагорейцы из Фив, Симмий и Кебет, ученики Сократа — Федон, Аполлдор, Критобул, Гермоген, Антисфен, Эсхин, Менексен, Ктесипп, Эпиген, Федонд, Эвклид, Терпсион, — афиняне и приезжие. Здесь жена Сократа Ксантиппа с младшим ребенком на руках и два других сына Сократа, плачущие родственницы, привратник, смотритель тюрьмы, архонты, надзирающие за приведением приговора в исполнение, служитель, изготовивший яд цикуты, раб-слуга. Да еще ко всему в экспозиции диалога житель Фанурта Эхекрат, пифагореец, которому спустя месяц рассказывает Федон о смерти Сократа.

В обоих диалогах параллельно развиваются две линии — внутренняя и внешняя. Внутренняя — сократовская, внешняя — окружающих его друзей. Оба диалога начисто лишены душераздирающего противоречия меж-

ду Сократом и его противниками на суде, как это было в «Апологии». Здесь только близкие, друзья, единомышленники, ученики. И даже те, кто должен привести приговор в исполнение, действуют не по своей воле, преклоняясь перед смирением Сократа.

В «Критоне» и «Федоне», где все основано на полной идейной гармонии, глубочайшем сочувствии и понимании с полуслова, есть свой напряженный драматизм, без которого немыслима трагедия Сократа. В обоих диалогах Сократ уже не волнуется и не борется, как это было в «Апологии». Он примирился с судьбой и совершенно спокоен. Бежать он не собирается. Его долг перед родными законами — остаться в тюрьме и бестрепетно встретить смерть. Сократ как бы стоит по ту сторону жизни, он смотрит на друзей оттуда, из-за той роковой черты, что отделяет этот мир от иной жизни. Сократ в последние дни и часы живет в своем особом внутреннем мире. Вокруг же него кипит внешняя жизнь, полная тревог и волнений.

В «Федоне» ведется неторопливая беседа (ведь солнцу еще далеко до заката, когда наступит смерть) о том, что душа бессмертна и будет вечно жить в ином мире, значит, смерть не страшна. Внимательно слушает упавшая духом молодежь Сократа и его друзей — пифагорейцев, кому так близки эти идеи. И вот перед слушателями раскрываются величественные и прекрасные картины за небесной сияющей земли, той настоящей, что не сравнится с нашей скудной и темной землей. Раскрывается в беседе и подробнейшая топография загробного мира с его страшными реками и пропастями.

Живописные картины словно подтверждают в зрительных образах логическую последовательность четырех пифагорейских доказательств бессмертия души. Перед нами герой, исполненный глубочайшей внутренней уверенности в своей правоте. Он не пытается убедить противников, как это было на суде. Его задача — вну-

шить уверенность и спокойствие друзьям. Теперь уже не место трагической иронии, Сократ приобщился к высшей, иной, запредельной мудрости, рождающей спокойствие.

Можно сказать, что если Сократ в «Апологии» сражается со своей судьбой, то теперь он ее познал, он слился с ней и сам является живым воплощением этой судьбы. Отсюда — величавая простота Сократа на фоне житейского ужаса и страха перед неведомым у окружающих его друзей. Поэтому так предельно прост Платон, рисуя последние минуты мудреца. Здесь уже творится легенда, создается своя мифология, и Платон как бы совсем непричастен к ней. Как рассказывает Федон, юного Платона даже и не было рядом в последние минуты жизни Сократа.

Платон отстраняется от заключительного акта сократовской драмы. Он как бы смотрит издалека, со стороны и тем создает поразительную иллюзию объективности. Нет, не он творит легенду о герое, который умер, чтобы жить бесконечной жизнью в памяти потомков. Он только рассказывает о событиях со слов учеников Сократа, а они, как всегда, пристрастны, и, стало быть, легенда — на их совести. Такая отстраненность автора наряду с живой, почти зрительно-сценической картиной конца Сократа создает особое чувство совместного переживания у каждого, кто раскрывает «Федона».

Диалог состоит из трех частей, центральная — философская беседа, где слушатели погружены в тончайшие ходы мысли Сократа. Главная идея триптиха предваряется в прологе, когда с Сократа сняли оковы, и находит свое оправдание в эксодe («исходе»), когда умирающий Сократ просит принести Асклепию петуха — дар за исцеление от тяжелой болезни. Только теперь Сократа освобождают не от физических железных оков, а от гораздо более тяжелых оков жизненной борьбы с несправедливостью. Драма из трех актов кончается иску-

питательной жертвой богам. Равновесие, нарушенное борьбой дерзновенного героя с предназначением судьбы, отныне восстанавливается.

Иной раз Платон создает диалог, весь построенный на постепенном, последовательном нанизывании речей, которые приоткрывают с разных сторон главную заданную вначале тему беседы.

Поскольку беседа происходит за пиршественным столом в непринужденной обстановке, ее прерывают мизансцены, вносящие разнообразие, веселье и смех своей, казалось бы, внешней несовместимостью с глубиной проблематики, но в самом деле вполне гармонирующие с атмосферой дружеского общения за чашей вина.

Пусть не удивляет читателя эта умная беседа за пиршественным столом. Мы не раз уже вспоминали, как греки любили говорить и с каким мастерством велся разговор. Герои гомеровской «Илиады» на поле битвы уединяются в шатер мудрого Нестора, чтобы насладиться едой, питьем и «беседой взаимной». А какие великолепные рассказы на пиру у царя Алкиноя ведет Одиссей, завлекая жадных до новостей, любопытных и внимательных слушателей феаков! Пир в элегии философа-поэта Ксенофана Колофонского, где все дышит скромным изяществом и торжественно-строгим убранством, немыслим без мудрой беседы.

Темы этих застольных бесед со временем менялись. Самый интересный разговор на пиру начинался после еды, когда гости обращались к вину, по обычаю разбавленному водой и специально охлажденному. Общий застольный разговор был не только развлекательным, но и высокоинтеллектуальным, затрагивались вопросы философские, этические, эстетические. Глубокомысленная беседа часто соседствовала со смехом и шуткой, так как для симпозиа было естественно сочетание серьезного и смешного. Атмосфера приподнятости обостряла ум и находчи-

вость, а музыканты и танцовщики только усиливали праздничную беззаботность гостей.

Примером именно такого пира является «Пир» Ксенофонта, который был соперником Платона в интерпретации образа их учителя Сократа. Ксенофонт, например, вводит целую интермедию с выступлением актеров, а гостей услаждает флейта и кифара.

Платоновский «Пир» — настоящая драматическая сцена. Сократ окружен друзьями и учениками, царит необычайное единодушие. Однако эта дружественная обстановка не только не мешает, но даже подчеркивает особый дух спора, соперничества среди пирующих. Можно сказать, что перед нами состязание философски настроенных ораторов, наподобие знаменитых состязаний певцов-рапсодов. Предлагается одна тема — восхождение человека к высшему Благу, которое есть не что иное, как воплощение идеи высшей любви.

Эта обязательная для всех тема разрабатывается самым различным образом. Каждый из участников состязания, сохраняя основную мелодию, обогащает ее своими вариациями, создавая характерные только для него парафразы¹, каждый раз выделяя то один музыкальный голос, то другой. Каждый из голосов вступает в определенном порядке. По мере нарастания и наполнения заданной темы голоса крепнут, становятся все увереннее, пока их всех не перекрывает голос Сократа, которого слушают с благоговением.

Но оказывается, что и сам Сократ только вторит голосу мудрой жрицы Диотимы. Отзвуками ее речей полнится голос Сократа, для того чтобы потом стать темой для разработки речи Алкивиада, который уже в конце состязания представит Сократа как живое воплощение духовной красоты.

¹ Парафраза — самостоятельная разработка заданной музыкальной темы.



Рельеф с саркофага с изображением философов.
Рим. III в. до н. э.

Перечислим всех участников этого состязания, мудрых певцов любви, по мере их вступления в спор. Это — Федр, Павсаний, Эриксимах, Аристофан, Агафон, Сократ, Алкивиад. В «Пире» — семь речей, семь голосов, и каждый безошибочно ведет свою партию.

Но это внешне гармоническое семизвучие внутренне очень беспокойно, и часто даже его голоса противоречат один другому, чтобы затем слиться в едином хоре.

Состязание восхвалителей любви в «Пире» можно назвать еще агонем. Греческое слово «агон» означает «борьба», причем в самом разном смысле — борьба атлетов, состязание бегунов или колесниц, также и состязание певцов-рапсодов, ораторов, поэтов, музыкантов,

драматургов. Агон — состязание героев аттической комедии, являющееся главной ее частью. Борьба двух противоположных идей, которые защищают соперничающие стороны, причем борьба азартная, страстная, не только словесная, но часто переходящая в настоящую драку, — вот что такое театральный комедийный агон.

Платоновские диалоги очень часто построены по принципу сценического агона. Только этот агон может быть разной степени напряженности, в зависимости от характера соперничества участников диалога — то настроенных дружески, а то и стоящих на противоположных и даже враждебных позициях. Недаром такие соперники назывались антагонистами, то есть противниками в борьбе.

Известно, что древний поэт VIII—VII веков до н. э. Гесиод в поэме «Работы и дни» прямо говорил о существовании двух Эрид — богинь спора. Одна из них — благая Эрида подталкивает человека на состязание с другими в ремеслах и труде, пробуждая самостоятельность и изобретательность. Зато другая — злая Эрида — вызывает людей на завистливое соперничество и безжалостную борьбу. Во времена Сократа и Платона спор софистов, пытавшихся во что бы то ни стало положить друг друга на обе лопатки, называли эристикой, отгородив ее от диалектики, где обе стороны совместно заинтересованы в достижении цели и идут к ней с помощью беседы, построенной на вопросах и ответах.

Думается, что на драматический спор в диалогах Платона и на живость характеров оказала воздействие аттическая комедия любимого им Аристофана, комедия Эпихарма и мимы Софрона, с творчеством которых Платон был хорошо знаком.

Хотя Аристофан жестоко высмеял Сократа в своей комедии «Облака» еще в 423 году, это не помешало Платону дружески объединить обоих в своем «Пире» и написать эпиграмму.

Храм, что вовек не падет, искали богини Хариты,
Вот и открылся им храм — Аристофана душа.

(Пер. М. Гаспарова)

Надо было тонко чувствовать замысловатый комизм Аристофана с его острыми и часто бранными, неприличными словечками, фантастическими ситуациями и безудержной буффонадой, чтобы осмелиться провозгласить душу комика храмом Харит, богинь юного, утонченного изящества.

Античные биографы Платона писали, что у Аристофана и Софрона Платон учился правдиво изображать действующих лиц своих диалогов и что он первый привез мимы Софрона в Афины. Уже смертельно больной, Платон читал этих любимых писателей. У давнего философствующего комика Эпихарма Платон тоже научился многому.

Древние говорили, что рассуждения Эпихарма о различии мира изменяемых чувственно-познаваемых вещей и мира неизменного, вечного, постижимого только умом, оказались особенно близкими Платону и повлияли на его представление о вечных неизменных идеях. Эпихарм (VI—V вв. до н. э.), который творил еще до рождения Платона, как будто предчувствовал, что его мысли обогатят потомков. Он писал:

Так я думаю и знаю и вещаю истинно,
Что слова мои кому-то в будущем припомнятся.
Он возьмет, освободит их от размера строгого,
Облечет их в багряницу, пестрой речью шитую,
И пред ним, непобедимым, лягут побежденные.

(Пер. М. Гаспарова)

132 Сами же древние утверждали, что Платон первый употребил в рассуждениях вопросы и ответы, первый ввел термин «диалектика» и аналитический способ ис-

следования¹. Видимо, здесь имеется в виду, что Платон систематически стал проводить в логически завершенной и литературно выраженной форме то, что его поразило в устных беседах Сократа, этого прирожденного диалектика.

Таким образом, комедийный агон, драматическая напряженность ситуаций и отточенность философской беседы чрезвычайно обогатили диалоги Платона.

«Пир» Платона представляет собою благородное состязание — агон единомышленников, добывающихся общими усилиями определения высшего Блага. И этим он отличается от целого ряда диалогов Платона, где агон обернется совсем другой стороной. Единомыслие не означает единообразия. Наоборот, оно часто предполагает заведомую разницу в мнениях и складывается из обсуждения и отбора тезисов, необходимых для достижения полноты искомой идеи. Вот почему участники платоновского «Пира», лица вполне реальные, подобраны автором по принципу своеобразно противопоставленных характеров.

Федр — поклонник красноречия и философии любви, знаток истории, мифологии, древних генеалогий. Он человек непрактичный, бедный, обитающий в мире поэтического вымысла. Речь его прославляет Эрота как самого могущественного бога, дарующего человеку блаженство и в жизни и в смерти.

Следующий, Павсаний, отличается как раз большим жизненным опытом, интересом к философским спорам и их логическому оформлению. Он в своей речи не довольствуется общим определением Федре, а немедленно вносит элемент уточнения, желая дружески поправить дело. Эрота «вообще», говорит Павсаний, не существует. Есть две Афродиты: небесная — Урания, для немногих из-

¹ См. античного историка философии Диогена Лаэртца, III 24.

бранных, и земная — Пандемос, для всех. А так как Эрот — сын Афродиты, есть само наслаждение, то и Эротов — два. Один — возвышенный и прекрасный, а другой — пошлый и ничтожный.

Далее выступает Эриксимах, сам известный врач и сын знаменитого врача. Он прирожденный эмпирик и материалист, как и следует человеку, имеющему дело с природой во всех ее проявлениях. Эриксимаху кажется, что речь Павсания не закончена. Говорили об Эроте «вообще», затем о двух Эротах, и теперь Эриксимаху хочется придать завершенность этому противопоставлению, объединить общее и частное. И вот тогда-то Эриксимах выдвигает мысль, типичную для греческих философов-«физиологов», исследователей природы. Искусство врачевания доказывает, по мнению оратора, что любовь живет не только в человеческой душе и ее стремлении к прекрасному, но во многом другом на свете — в телах любых животных и даже в растениях. Эрот всеобъемлющ и причастен ко всему сущему. Здесь чувствуется знаменитое учение философа Эмпедокла о любви как объединяющем начале всего мира, хотя еще в «Гомеровских гимнах» любовь побеждает «людей земнородных, в небе высоком летающих птиц и зверей всевозможных».

Здесь мысли созвучные трагику Эврипиду об Афродите как сеятельнице любви в высях эфира и в бездне моря («Ипполит», стихи 447—450).

Первая триада речей закончена. Должна последовать вторая триада. И здесь Платон поступает как хороший режиссер. Он дает возможность посмеяться и отдохнуть соотрапезникам.

Речь начинает знаменитый комедиограф Аристофан, тот самый, который когда-то осмеял Сократа. Это комик злой на язык, скорый на издевки и беспощадную критику в театре именно потому, что в жизни он чрезвычайно старомоден и требователен к человеку. За столом,

видимо не успев продумать свою речь, он разыгрывает престыщенного едой гостя, которому якобы не дает говорить икота. Поэтому он сначала уступает свою очередь Эриксимаху и таким образом оказывается в самом центре двух ораторских триад, как бы участвуя в сценической интермедии.

Аристофан начинает прямо с того, что заявляет о совсем ином понимании Эрота, не похожем на предыдущее. Эрот — самый человеколюбивый бог, который помогает людям и исцеляет их недуги.

Недуги человечества здесь явно не чисто физические, а гораздо более глубокие, может быть, те, которые исцелял своим смехом, любя людей, Аристофан. Эрот для Аристофана — это стремление человека к изначальной целостности.

Здесь впервые произнесены слова «стремление» и «целостность». Однако эта тема разработана Аристофаном в чисто комическом духе с забавными и даже непристойными подробностями, столь характерными для аттической комедии с ее вседозволенностью народной игры. Тему стремления к целостности, но уже не в физическом смысле, а в духовном и не в комическом жанре, а в глубоко-драматическом развернет далее Сократ.

Пока же Аристофан потешает гостей. Забавны страдания людей, разделенных богами пополам. Полнота и целостность человека ушли в прошлое. Раздвоенность человека — наказание за его несправедливость. И любовью называется жажда целостности и стремление к ней ищущих друг друга половинок. Но здесь тоска по древней физической нераздельности плоти вместо божественно прекрасной целостности с ее восхождением от тела в духу, от земной красоты к высшей идее.

Слушатели после речи Аристофана обмениваются репликами, оценивают ее как нечто совсем особенное по сравнению с предшествующими, но вместе с тем признают, что и Эриксимах «состязался на славу». Приме-

чательно, что хозяин пира, трагический поэт Агафон, называет сотрапезников «зрителями», ждущими прекрасной речи. Сократ посмеивается над волнением Агафона, готовящегося к новой речи. Как может растеряться перед небольшим кружком слушателей опытный драматург, который не раз всходил на подмостки к актерам и перед исполнением трагедии глядел в глаза тысячам зрителей без малейшего страха? Да, но несколько умных людей страшнее многих невежд.

И Агафон не без трепета открывает новую триаду речей, прославляя молодого, нежного, прекрасного бога, который прокрадывается всюду и без всякого насилия, одним своим совершенством подчиняет себе всех людей. Вот почему из любви к прекрасному возникли всяческие блага для богов и людей, и сам Эрот, прекраснейший и совершеннейший, стал источником этих же качеств для всех прочих.

Но теперь наступает черед Сократа, который притворно вздыхает перед трудной задачей — последнему произнести похвальное слово Эроту, не зная пока, что сотрапезникам предстоит еще одна, неожиданная, речь: Сократ здесь явно выполняет функции сценического персонажа. Он в комических тонах, как бы надевая на себя забавную маску (а ведь лицо Сократа напоминало уродливую комедийную маску), говорит правду и, притворяясь невеждой, учит зрителей истине. Чтобы придать больший вес своей речи, Сократ разыгрывает своеобразный диалог, якобы произошедший у него некогда с мудрой жрицей Диотимой, наставницей в философии.

Перед нами уже не монологическая речь, а живая беседа, в которой Сократ играет сразу две роли — свою и Диотимы. Реплики, вопросы и ответы подаются одним человеком, но так и видишь представляющегося наивным простаком Сократа и искушенную в диалектике жрицу Диотиму, таинственную мантийянку, отодвинувшую своими молитвами на целых десять лет чуму в Афинах.

Сократ, как всегда, простейшим способом разъясняет слушателям, что Эрот есть вечное стремление к обладанию высшим Благом, и тут же для большей наглядности создает полный тончайшей диалектики миф о рождении Эрота, сына Бедности и Богатства. Здесь возникает понимание идеи красоты и блага, начинающееся от стремления к обладанию отдельными физическими вещами и прекрасными вещами вообще, затем стремление к прекрасным отдельным душам и прекрасной душе вообще. Далее — стремление к прекрасным наукам и к тому пределу всех наук, который является вечной и неподвижной идеей красоты, высшего Блага или истинной добродетели.

Кажется, уже дальше нет никакого движения в развитии мысли. Речи завершают свой круг, как и чаша, передаваемая участниками пира друг другу. Но кончить на этой высокой и вместе с тем безупречно логической конструкции Платон не может. Сейчас должен наступить момент, когда определение сократовского Эрота, достигнутое средствами абстрактной мысли, обязано воплотиться в живое лицо. И виновником этого воплощения оказывается не кто иной, как подвыпивший Алкивиад в венке из плюща и фиалок, неожиданно ввалившийся на пир, сопровождаемый флейтисткой и веселыми спутниками.

Теперь уже пришла очередь разыгрывать сценическую интермедию Алкивиаду, который больше представляется пьяным, чем это есть на самом деле. Он так же, как незадолго до него Сократ, как бы надевает на себя маску. Но только эта маска праздного и бесшабашного, едва держащегося на ногах гуляки. Вот когда этот красавец и любитель рискованных предприятий получает возможность сказать правду уже о самом Сократе как живом воплощении вечного стремления к высшей духовной красоте.

Что все разговоры о нежном, изящном и великолеп-

ном божестве любви, когда Сократ, похожий на Силена¹, хранит в своей душе неисчерпаемые сокровища духа и притягивает к себе людей! У тех, кто неотступно следует за Сократом, сердца бьются как у безумствующих фригийских жрецов, корибантов, и из глаз льются слезы. И хочется ускользнуть от этого человека, и хочется даже, чтобы он сгинул, умер, не следил за тобой, а потом подумашь: как же жить без него? И остается только одно: слушать завораживающие речи Сократа и следовать за ним.

Похвальное слово Эроту, которое произнес Сократ, превращается в похвальное слово, или энкомий, в честь самого Сократа.

Миф об Эроде, пережитый столь различными участниками состязания за пиршественным столом, превратился на глазах в самую настоящую, живую действительность.

Итак, вторая триада речей после первой триады (Федр, Павсаний, Эриксимах) и после интермедии Аристофана построена безупречно логически и отличается ясной структурой. Агафон говорит о самых разнообразных функциях Эроса как принципа совершенства. Сократ говорит о том, как достигается идеальное совершенство в целостном виде, и, наконец, Алкивиад иллюстрирует это целостное совершенство, воплощенное в реальной жизни, а именно в образе Сократа.

Как и положено для драматического представления, оно должно кончиться уходом со сцены актеров и заключительным размышлением хора, в котором всегда звучит голос высшей правды.

Тема исчерпала себя, цель пира достигнута, поэтому никого больше не привлекает новая толпа веселых гуляк. Участники агона расходятся по домам. Остаются беседо-

вать трое — трагический поэт Агафон, хозяин дома, Аристофан и Сократ.

Здесь, в финале, произносятся резюмирующие мысли Сократа.

Сократ, который вечно стремится к идеалу прекрасного в его недостижимой целостности, жаждет слить воедино две стороны жизни и искусства — трагическую и комическую. Поэтому его слова о том, что настоящий трагический поэт должен быть одновременно комическим поэтом, совсем не звучат диссонансом главной теме «Пира». Наоборот, Сократ, который только что предстал в речи Алкивиада как некое демоническое, исполненное колдовских чар существо, само стремящееся к полноте знания, мудрости и красоты, влекущее к целостности бытия других, — этот Сократ не может не объединить в одно нераздельное целое трагедию и комедию на сцене и в жизни. Бытие едино, искусство едино. Комическая маска скрывает трагедию человеческой личности, а над трагедией человека смеются боги.

Сократ, которого дельфийский оракул назвал мудрейшим, изрекает истину, беря на себя роль заключительного хора в театральном представлении. Окончательный смысл искусства и жизни звучит в его простых словах. Размышление Сократа является достойным финалом дружеского состязания в доме Агафона, а сам образ мудреца в последних строчках диалога еще раз приобретает символические черты. И Агафона и Аристофана наконец сморил сон. Один Сократ не знает усталости. На рассвете он выходит из дома Агафона и является в Ликей, где освежается водой после пиршественной ночи. Весь день он проводит, как ему полагается, в беседах и встречах, а к вечеру наконец отправляется домой на отдых. Оказывается, что этот неустанный и вечно бодрствующий Сократ платоновского «Пира» и есть само неустанное стремление к овладению все новыми и новыми идеями.

¹ Силена — один из спутников бога Диониса, безобразный, смешной, но мудрый.

Он всегда бос и нищ, как сам Эрот, он всегда бродит по дорогам, ибо ему мало того знания, которым он обладает, и он стремится к целостному, всеохватывающему, идеальному знанию. Перед нами живое олицетворение философии, то есть любви к мудрости. Перед нами тот образ Сократа, который был назван Марксом самой «воплощенной философией».

Платоновский «Пир» положил начало новому жанру литературного диалога — «симпосию». Мы уже знаем «Пир» Ксенофонта. Плутарх написал «Пир семи мудрецов» и «Девять книг пиршественных вопросов» (I в. н. э.). Сатирик Лукиан (II в. н. э.) тоже автор «Пира». Римлянин Петроний в «Сатириконе» (I в. н. э.) пародийно изображает блестящее пиршество Тримальхиона. Атеней (III в. н. э.) — автор огромного сочинения в пятнадцати книгах «Софисты за пиршественным столом». Грек Макробий (V в. н. э.) издает на латинском языке «Сатурналии» — семь книг пиршественных бесед. Император Юлиан, философ-неоплатоник и борец с христианством (IV в. н. э.), пишет сатиру на римских цезарей под названием «Пир, или Кронии». Епископ и отец церкви Мефодий Патарский (IV в. н. э.) сочиняет «Пир десяти дев», полемизируя с еретиками и борясь с пережитками древних языческих культов.

Оказывается, что за пиршественным столом могут быть подняты любые вопросы — бесконечные, как сама жизнь. Но нигде, никогда и ни у кого после Платона пир не конструируется так продуманно, сжато, просто и, главное, динамически напряженно, как это и следует для настоящего драматического действия.

Диалог Платона, таким образом, есть только внешнее выражение глубочайшего драматизма мысли, и притом не в каком-нибудь переносном смысле слова, но в смысле самого настоящего драматизма, включая столкновения героев в виде агона, пролога и эксода, включая интермедии, яркие комические маски и высказывание обобщен-

ных мыслей, поручаемое в драмах хору или беседе хора и героев.

Излюбленная Платоном форма философского спора решается им в несколько иной тональности в диалогах, где спорящие стороны являются настоящими антагонистами — противниками. Диалоги «Гиппий больший», «Протагор», «Горгий», «Менон» тоже драматичны, но эта драматичность несколько иного характера, чем в «Пире», где обстановка праздника, живое развитие мысли и действия создавали особую сценическую приподнятость.

Там, где Сократ вступает в спор с идейными противниками, диалоги Платона пронизаны духом внутреннего противоборства, взаимного отталкивания, иной раз даже глубокой неприязни. Это настоящий агон соперничающих сторон. И каждая из них испытывает остроту своего интеллектуального оружия на противнике, чтобы в заключение прийти к временному перемирию. Внешне в подобных диалогах как раз очень мало движения. Но зато они представляют в самом чистом виде подлинную драматичность развития мысли и напряженность враждебно сталкивающихся идей.

Так, в «Гиппии большем», который посвящен определению прекрасного, сталкиваются двое — софист из Эфиды Гиппий, хвастливый, напористый, самоуверенно наглый, и Сократ. Реальная постановка вопроса такова: если справедливые поступки предполагают справедливость вообще, а мудрые — мудрость вообще и, следовательно, справедливость и мудрость есть нечто, то и все прекрасные предметы предполагают прекрасное вообще, то есть прекрасное тоже есть нечто.

Гиппий, который мыслит себя совершенным и мудрым человеком, да еще зарабатывающий вдвое больше денег, чем любой софист, и важно исполняющий обязанности попла в различных государствах, должен защищаться под градом вопросов Сократа, доказывая, что прекрасное есть отдельно взятая вещь.

В живом, стремительном диалоге то и дело ставятся вопросы о том, что такое прекрасная девушка, прекрасная кобылица, прекрасная лира, прекрасный горшок, прекрасная статуя и так далее.

Сбитый с толку таким обилием прекрасных вещей, Гиппий пытается установить, какова идея прекрасного, исходя из того, что с его точки зрения в подлинном смысле всегда и везде прекрасно, к чему он относит здоровье, богатство, почет, роскошное погребение. Но Сократ опровергает неустойчивость и относительно прекрасных вещей, так что приходится перейти к иному, уже не житейски конкретному опыту, а к сфере отвлеченных категорий. Обе стороны страстно спорят о том, не есть ли прекрасное — нечто приличное, полезное, пригодное, не есть ли оно зрительное или слуховое удовольствие. Прекрасное, по всему видно, не связано с какой-либо категорией, которая при одних условиях может быть прекрасной, а при других не может быть ею.

Гиппий попадает в тупик. Что же именовать прекрасным, если это не отдельная вещь, не отвлеченная категория. Но Гиппий привык побеждать и упиваться славой; не желая быть побитым, он просто объявляет все разговоры о прекрасном пустословием и под этим предлогом ускользает от Сократа.

Борьба двух видов спора — софистического и диалектического — и двух типов философов: софиста Гиппия — искателя почестей и денег, и Сократа — искателя истины, как будто не кончается полной победой Сократа. Но читатель чувствует, как страдает Сократ, вынужденный сражаться с бессовестными софистами, и как мучительно рождается в его споре с самим собой, а не только с собеседником (собеседник часто только повод для того, чтобы разобраться в самом себе) понятие «идеи» прекрасного, «сущности» прекрасного, благодаря которой прекрасными становятся отдельные вещи.

Но спор с Гиппием еще довольно благодушен, так как

этот софист в своей самовлюбленности даже особенно и не негодует на Сократа. Уверенный в своей правоте, хотя и сбитый с толку, он просто отмахивается от спора.

Зато в диалоге «Протагор», где ставится проблема добродетели в целом, все усилия Платона направлены на то, чтобы в Протагоре и Сократе представить достойных друг друга противников.

Ожидание агона двух знаменитых спорщиков обставлено здесь торжественно и важно, как перед увлекательным театральным зрелищем. Сам знаменитый Протагор так и жаждет показать себя перед афинянами и порисоваться перед другими софистами, создавая атмосферу поклонения и восхищения. Протагор гордится своей профессиональной софиста и тем, что эта наука, по его мнению, учит человека жить. Многочисленные гости, а среди них софисты Гиппий и Продик, сам хозяин дома богач Каллий, оба сына Перикла, родичи Платона Критий и Хармид, врач Эриксимах, Федр, Павсаний и Алкивиад (вспомним их участие в «Пире»), опытный ученик Протагора Антимер и совсем еще наивный юноша Гиппократ рассаживаются вокруг, чтобы насладиться спором двух знаменитостей.

Беседа начинается с установления происхождения добродетели в обществе и у отдельных граждан.

Затем собеседники переходят к определению смысловой структуры добродетели и к нахождению принципа этой структуры, то есть, говоря платоновским языком, в «идее» добродетели. Но это как будто простейшее разделение диалога бесконечно перебивается отступлениями от главной темы приведением примеров, когда Протагор оперирует мифами, а Сократ своим излюбленным житейским опытом. Бесконечно повторяют одно и то же, уклоняются от прямых ответов, возвращаются к основной проблеме. Создается впечатление упорной и увертливой игры противников, которые кружат друг около друга, не нанося решающего удара. Как у настоя-

щих антагонистов, завязывается перебранка, затем соперники уходят в сторону, исследуя песнь поэта Симонида и разбирая, чем отличается «бытие» от «становления». Протагор и Сократ запутывают друг друга многословием. Протагор своим мифом о богах, даровавших людям ремесла, совсем затемняет главную тему. Начинается настоящая ссора, и Сократ выступает против длинных речей, защищая краткие вопросы и ответы. Он комически восхваляет немногословие спартанцев, сам тем не менее произнося длинную речь.

Платон великолепно рисует искусную изворотливость и Протагора и Сократа, извилистость их мысли. Слушатели с восторгом внимают спору двух знатоков и только соглашаются со всем сказанным, сами сбитые с толку. Страницы диалога так и пестрят замечаниями «все согласны», «и с этим все согласились», «со всем этим мы согласились».

В конце концов оказалось, что Сократ с Протагором пришли к выводам, противоречащим их исходным тезисам. Сократ отвергал изучение добродетели, а теперь стал его признавать. Протагор сначала проповедовал научение добродетели, а теперь, когда пришли к выводу, что добродетель есть знание, стал это отвергать.

Такой совершенно обратный результат беседы, где, казалось бы, противники перешли на позицию друг друга, оказывается чисто внешним, так как Сократ в споре с Протагором прибегает к приемам самых изощренных софистов, желая сбить с толку и запутать Протагора.

На самом же деле, если подходить не формально, а по существу, становится очевидным, что Сократ остался при своем мнении, а Протагор при своем.

Сократ всегда имел в виду добродетель как нечто идейное, считая низкопробными чисто технические приемы софистов, якобы обучавших добродетели. И если он в конце спора пришел к мысли, что добродетель есть высшее знание, то, естественно, он считает возможным

научить людей этому высшему знанию, потому что сам он только и занимался таким воспитанием людей.

Протагор, по сути дела, тоже не изменил себе. Он попросту отказывается обучать добродетели как высшему знанию, ибо он этого никогда не делал и не знает, как за это взяться.

Таким образом, сильные соперники остаются каждый на своих позициях. Здесь нет ни победителя, ни побежденного. Оба проявили максимальное умение спорить и убеждать окружающих, которые то и дело соглашались то с Протагором, то с Сократом. Но среди всего этого фейерверка мыслей и нарочитой запутанности главной линии спора, рассчитанной именно на удивление публики, ничто не может поколебать твердости исконных идейных противников, хотя в конце спора Сократ снова прикидывается простачком, готовым вновь и вновь обращаться к определению добродетели под руководством мудрого Протагора, а Протагор тоже снисходительно одобряет рвение и ход рассуждений Сократа. Он готов признать себя не таким уж дурным человеком и совсем независтливым, благосклонно восхищаясь мудростью своего противника. «Протагор» — прекрасный образец платоновского диалога, в котором форма драматизма мысли приводит к совершенно неожиданным результатам ввиду чрезвычайно противоречивого, прихотливого развития.

Наш читатель должен иметь в виду, что мы характеризуем здесь не столько Сократа и Протагора, сколько художественное мастерство Платона. Платон-художник максимально изобретателен в драматических ситуациях спорящих сторон, в находчивости, неожиданности, остроте смысловых эффектов, в бесконечном разнообразии конфликтов между антагонистами, в точных и вместе с тем парадоксальных ходах собственной мысли.

Именно благодаря слишком подвижному и горячему драматизму мысли некоторые диалоги Платона не довольствуются одним главным спором противников.

В этом отношении интересен «Горгий», где ставится важная проблема: как жить? А в связи с этим — какова суть и цель риторики? В «Горгии» не один, а целых три агона, и всюду участвует неутомимый Сократ, хотя противники его меняются.

Сначала это знаменитый софист Горгий Леонтинский, затем его верный ученик Пол из Агригента (оба — сицилийцы) и, наконец, Калликл, молодой аристократ, стремящийся к государственной карьере и не останавливающийся ни перед чем для достижения своих целей.

Хотя диалог и называется именем Горгия, но спор с ним занимает минимальное место.

Читатель предупрежден заранее, что Горгий только что выступал с речью в гимнасии, где теперь ведется его беседа с Сократом. Отговорка вполне удобная, чтобы за счет сокращения партии Горгия увеличить две другие.

Тема первого агона — определение софистической риторики, как оно давалось самими софистами. Тема второго — критика софистической риторики в том виде, как ее понимает Сократ. Тема третьего — критика софистической риторики, основанной на теории естественного права.

Обе спорящие стороны приходят со своими учениками и поклонниками. Протагора сопровождает Пол, Сократа — Херефонт, тот самый, что вопрошал Дельфийского оракула о мудрейшем человеке. Среди присутствующих независимым поведением выделяется Калликл, видимо приглашавший Сократа встретиться с Горгием у себя в доме. Сначала для затравки пытаются спорить наподобие секундантов ученики соперников. Но затем в спор вступают сами учителя.

Сократ запутывает Горгия своими вопросами так, что даже Пол указывает на «невежливость» такого обхождения.

146 Здесь Платон прерывает спор, шедший в довольно

мирных и благодушных тонах, небольшой интермедией, в которую вступил Пол, занимающий теперь место Горгия, зашедшего, по мнению Сократа, в тупик.

Пол спрашивает Сократа, что он сам думает о красноречии, начиная тем самым вторую тему более оживленного и основательного агона. Сократ, конечно, делает вид, что хочет излагать все покороче, но вместо этого приводит геометрическую пропорцию, пользуется примерами из врачевания, поварского дела, правосудия и тому подобное.

Пол в свою очередь то задает сразу по два вопроса, то высказывает собственные суждения, так что даже Сократ, по его словам, «спотыкается» от такой неразберихи.

Для Сократа риторика не есть искусство, а только сноровка, основанная на опыте человека и обычная в каждом деле. Более того, риторика часто потакает низменным страстям и переходит в разряд угодничества, как бы укрываясь за настоящим искусством. Риторическое угодничество укрывается за искусством вести судебные дела и тем самым становится как бы поваром, убаюкивающим душу. Риторика часто приносит огромное зло и помогает несправедливости, борясь за видимую правду. Настоящей нормой риторики, по мнению Сократа, должно было быть: лучше самому подвергнуться несправедливости, чем прочесть ее другому. Но эта норма никогда не осуществляется. Пол хотя и считает выводы Сократа «нелепыми», но видит, что у того все безупречно согласованно, и готов признать себя побежденным.

Беседа опять прерывается интермедией, в которую вступает Калликл, не понимающий, серьезно или в шутку утверждает Сократ свою идею о том, что прекраснее самому претерпеть, чем обидеть другого. Для Калликла такое утверждение все переворачивает вверх дном. Но для Сократа жить в ладу со своей совестью — главное.

Сократ образно представляет себя музыкантом и гла-

вой хора, у которого лира скверно настроена, участники же хора поют нестройно. Большинство людей, как говорит Сократ, с ним не соглашаются и спорят. Но зато философ не вступает в разногласие с самим собой. Каллик все еще не верит серьезности Сократа, называет его озорником, как завязанного риторы, и упрекает в трескучих и избитых фразах.

С этого момента начинается третий агон, в спор вступает Каллик, доказывающий несовместимость природы и закона, установленного людьми для прикрытия своего бессилия. Каллик рьяно берется за дело. Чтобы уязвить Сократа, он даже начинает укорять и бранить противника, как это делалось в комедии перед решающим агонем. Каллик изображает Сократа в виде смешного, слабого, жалкого болтуна, в старости занимающегося на смех всем философией и по которому плачет кнут. Жесткие слова Каллика о ничтожестве философа, которого можно безнаказанно бросить в тюрьму, обвинить и казнить, вызывают иронические замечания Сократа. Он заставляет Каллика признать, что если лучшее — это сила, то мораль, установленная многими, сильнее, а потому она лучше отдельного гордого индивидуалиста. Тогда Каллик понимает свою ошибку в грубом физическом понимании силы и увертливо выдвигает новый тезис: сильный — тот, кто разумно и мужественно управляет другими в государственных делах. На это Сократ возражает: а нужно или нет управлять самим собою? Самоуверенность Каллика не знает пределов. Управлять самим собой не нужно. Рассудительность и мужество заключаются в свободе наслаждений и своеволия.

Сократ со смехом сравнивает такую жизнь по своей ненасытимости с дырявым сосудом. Каллик же предпочитает эту жизнь отсутствию наслаждений, на что Сократ тут же предлагает различать наслаждения дурные и хорошие. Но Каллик отвергает это различие, что

личие между удовольствием и благом, а также что первое надо всегда подчинять второму. Хороший человек должен быть обязательно воздержным, и ему-то произносит Сократ хвалебное слово.

«Стало быть, Каллик, воздержный человек — справедливый, мужественный и благочестивый, как мы с тобою выяснили, — непременно будет безупречно хорошим, а хороший всегда поступает хорошо и достойно, и, поступая так, он блажен и счастлив, меж тем как дурной, поступая скверно, несчастлив. Он-то и составит противоположность воздержному, — тот самый разнузданный, которого ты восхвалял.

Вот как я полагаю, и, по-моему, это верно. А если верно, тогда тот, кто желает быть счастливым, пусть приучает себя к воздержности, пусть стремится к ней, а от разнузданности каждому из нас надо бежать со всех ног, и больше всего надо стараться, чтобы вообще не было надобности терпеть наказания, если же все-таки надобно — нам ли самим или кому из наших близких, будь то частное лицо или целый город, — следует принять возмездие и кару, иначе виновному не бывать счастливым.

Такою мне представляется цель, которую надо видеть перед собой в течение всей жизни, и ради нее не щадить сил — ни своих, ни своего города, — чтобы справедливость и воздержность стали спутницами каждого, кто ищет счастья; да, так надо поступать, а не давать волю необузданным желаниям, не торопиться их утолять, потому что это нескончаемое зло, это значит вести жизнь разбойника. Подобный человек не может быть мил ни другим людям, ни богу, потому что он не способен к общению, а если нет общения, нет и дружбы. Мудрецы учат, Каллик, что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, порядочность, воздержность, справедливость, по этой причине они и зовут нашу Вселенную «порядком» [«космосом»], а не «беспорядком»,

друг мой, и не «бесчинством». Ты же, мне кажется, этого в расчет нисколько не принимаешь, несмотря на всю мудрость, ты не замечаешь, как много значит и меж людей равенство — я имею в виду геометрическое равенство [основанное на справедливости], — и думаешь, будто надо стремиться к превосходству над остальными. Это оттого, что ты пренебрегаешь геометрией.

Как бы там ни было, нужно либо опровергнуть этот наш довод, показав, что не справедливостью и не воздержностью счастлив счастливый и не своей испорченностью несчастлив несчастный, либо, если наш довод верен, рассмотреть, каковы его следствия. Следует же из него, Каллик, все прежнее, о чем ты спрашивал, не шутики ли я шучу, когда утверждаю, что надо выступать с обвинением и против самого себя, и против сына, и против друга, если совершена несправедливость, и что в этом случае полезно обращаться за помощью к красноречию. Истиной оказывается и то... что чинить несправедливость хуже, чем терпеть, и насколько хуже, настолько же безобразнее [постыднее]. И если кто решил овладеть красноречием по-настоящему, он должен быть человеком справедливым и сведущим в делах справедливости...

Раз это так, давай поглядим, чем, собственно, ты меня коришь — правильно или нет, будто я не могу помочь ни себе самому, ни кому бы то ни было из друзей или близких, не могу спасти никого даже в случае самой крайней опасности, но, словно лишенный прав, отдан на произвол любому встречному — пожелает ли он отхлестать меня, если вспомнить крепкое твое выражение, по щекам, пожелает ли отнять имущество, или изгнать из горда, или, наконец, даже убить. Нет ничего позорнее такого положения — вот твое слово. А какое мое, слышали уже не раз, но я повторю снова — это нисколько не помешает.

Я согласен, Каллик, что самое позорное на свете —

несправедливо терпеть пощечины, или попасть в руки мучителей, или оказаться обворованным; нет, бить и мучить меня вопреки справедливости или красть мое имущество — вот что и позорнее, и хуже; грабить, продавать в рабство, вламываться в мой дом — словом, чинить любую несправедливость против меня или моего имущества и позорнее, и хуже для того, кто ее чинит, чем для меня, потерпевшего.

Что дело обстоит именно так, как я утверждаю, уже выяснилось в ходе нашей беседы и скреплено — хотя это и прозвучит, пожалуй, чересчур резко — железными, несокрушимыми доводами. Во всяком случае, до сих пор они казались вполне надежными, и пока ты их не опровергнул — ты или кто другой, еще более пылкий, — любой, кто выскажет суждение, отличное от моего, не может быть прав. Что до меня, я все время твержу одно: как обстоит дело в точности, мне неизвестно, но до сих пор, как вот и нынче, я ни разу не встретил человека, который был бы в состоянии высказаться по-иному, не попав при этом впросак.

Вот почему я полагаю, что я прав. Но если несправедливость — величайшее зло для того, кто ее чинит, и если существует зло еще большее — остаться безнаказанным, совершивши несправедливость, — в чем же тогда состоит помощь, которую должен оказать себе человек, чтобы на самом деле не попасть впросак? Не в том ли, чтобы отвести от себя самую страшную беду? И если ты не в силах оказать такую помощь ни себе, ни своим друзьям и близким, это, вне всякого сомнения, величайший позор» («Горгий»).

Из этого сложного лабиринта мыслей о законе, природе, силе, слабости, философии, разумности, наслаждении, воздержности, мужестве, благе Сократ незаметно выходит к главной теме, начатой еще в споре с Горгием. Оказывается, риторика должна быть сознательно проводимым искусством насаждения благих чувств и для до-

стижения высшего блага должна создавать в душе строй и порядок, придавая душе целостность и законность, что изгоняет из души стремление к дурным удовольствиям и несправедливости.

Последняя мысль Сократа многократно повторяется как музыкальный рефрен на разные лады. Учение об общественно-личной справедливости подтверждается великолепным в своих подробностях мифом о загробном суде с его наградами и наказаниями.

Наглость и беспринципность Калликла разбивается об уверенность Сократа в духовной силе достойного человека, борющегося за истину, который не побоится ни доноса, ни клеветы, ни несправедливого суда, ни смертного приговора. Калликл замолкает, не побежденный логикой, но обезоруженный этой наивной и твердой верой философа в торжество блага. Ему остается только терпеливо слушать и повторять «конечно», «пожалуй», «разумеется». Хотя Калликл остался тем же самым гордецом и «сильным человеком», но судьба Сократа страшит его, и он, потеряв самоуверенность, смиренно выслушивает призыв старика: «Давай и жить и умирать, утверждаясь в справедливости и во всякой иной добродетели».

Структуру платоновских диалогов часто очень трудно установить, так как в них множество повторений, уточнений, возвращений к предыдущим тезисам, уклонений в сторону. Создается впечатление многоголосия музыкального произведения, а не точно сформулированной логической последовательности. Благодаря драматизму мысли, слишком подвижному и страстному, который и создает диалог, законченность и систематичность как бы все время ускользают в сторону. Но именно эти бесконечные зигзаги и каскады мыслей, когда все кипит и бурлит от все нового и нового напора, придают диалогу особое ощущение непосредственного, живого, реального спора.

САМООТРИЦАНИЕ ДРАМАТИЗМА



С годами пылкий драматизм Платона постепенно замирает, становится намного спокойнее. Но эта внешняя упорядоченность и приглушенность интеллектуальных страстей выдвигает уже иную сторону беседы — мудрую рассудительность, любовное созерцание идей, стремление к идумчивости, к всестороннему, неторопливому рассмотрению поставленной задачи. Создается впечатление, что участники беседы стали старше не только внешне, но и внутренне, повзрослели в философских спорах и утратили свой прежний боевой задор, хотя Сократ остается все тем же беспокойным и неумным.

Действительно, если присмотреться к таким диалогам, как «Теэтет», «Софист», «Парменид», «Филеб», «Политик», то выясняется, что изменились и действующие лица диалогов, и обстановка, в которой диалоги происходят.

Теперь здесь нет драматических ситуаций из жизни Сократа. Время постепенно сгладило горе Платона, и фи-

гура Сократа лишилась выразительного и острого биографизма. Он превращается в несколько абстрактного носителя истины, теперь уже воплощая в себе чисто платоновское учение о высших идеях, по образцу которых строится и живет мир. Да и собеседники его уже не задиристые софисты, а люди глубокой и серьезной науки, равные ему по своей приверженности к истине, несмотря на то, что одни даже старше Сократа, а другие зрелые, полные сил или совсем юные. Здесь платоновский диалог теряет характер агона, собеседники не антагонисты, а союзники, заинтересованные в совместном выяснении поставленной проблемы. Да и сами эти проблемы уже не имеют ярко выраженной моральной сути прежних диалогов, которые часто задевали людей за живое.

В диалоге «Парменид» рисуются сложнейшие отношения диалектики понятий «одного» и «другого» как условия существования высшего «образца» или «идеи», по которой строится бытие. Здесь есть свой пролог и трехчастное деление, а между второй и третьей частью даже помещается интермедия. Но все это разделение условно, чтобы выделить внутренний ход беседы и ее границы.

В центре диалога старец Парменид, его знаменитый ученик Зенон и двое юношей — Сократ и Аристотель¹, жаждущие знания. Диалог начинается беседой Зенона и Сократа, пытливые вопросы которого и его пыл в рассуждениях восхищают Парменида. Юный Сократ представлен здесь достойным собеседником Парменида и каким-то очень взрослым и умудренным. Парменид, беседуя с ним во второй части, как с равным, благожелательно разъясняет ему свое понимание «вещи» и «идеи», частного и общего. На пронизательные замечания Сократа ни Парменид, ни Зенон не досадуют, а даже переглядыва-

ются с улыбками восхищения. Но когда начинается беседа Парменида с Аристотелем, то оказывается, что этот юный собеседник нужен только для того, чтобы служить Пармениду эхом его собственных раздумий. По сути дела, перед нами тонко продуманный диалог старика Парменида с самим собой об абсолютности и относительности единого. Аристотель — это голос, который вторит Пармениду. Но этот голос необходим, так как Парменид хочет сделать свои сложные рассуждения наиболее понятными и потому расчленяет их на все более и более мелкие отрезки мыслей. Он продвигается вперед, повторяет, закрепляет, резюмирует. Аристотель же подтверждает их словами: «именно так», «непременно», «правда», «правильно», «безусловно», «как же иначе», «конечно», «да», «совершенно верно», «очевидно», «именно», «выходит, так», «возможно», «так», «невозможно». Но если надо, любознательный Аристотель задает вопросы: «как так?», «почему так?», «почему же?», «а разве нет?», «как это?», «каким образом?», «как же иначе?», «почему?», «как же так?», заставляя Парменида повторять и разъяснять.

Иной раз Аристотель, как эхо, буквально вторит последним словам Парменида («Не будет ли оно неподобным?» — «Конечно, неподобным». «Очевидно, неподобное будет неподобно неподобному». — «Очевидно». «Единое причастно к неравенству?» — «Причастно». «Неравенству принадлежат великость и малость?» — «Принадлежат»). И этот мерно повторяющийся отголосок развернутой мысли Парменида фиксирует всеобщее внимание, как бы еще раз закрепляя его именно на данном пункте. И когда Аристотель заканчивает диалог словами: «Истинная правда», хочет или не хочет читатель, но он проникается каким-то благоговением перед почти священным ритуалом беседы мудреца с непосвященными, воспринимая всю эту неторопливость мысли как некое торжественное введение неопита в храм истины.

В диалоге «Тимей» голоса Сократа почти не слышно и мудрое поучение находится целиком во власти Тимея, философа-пифагорейца.

Если взглянуть на два самых больших сочинения Платона «Государство» и «Законы», каждое из которых занимает по толстому тому, то приходится признать такую деформацию диалога, которая уже трудно совместима с любимым жанром Платона.

В «Государстве» десять частей, или книг, множество действующих лиц. Но большею частью все это пассивные слушатели и молчаливые персонажи. Главное лицо этого сочинения — Сократ. Рядом с ним родные братья Платона — Адимант и Главкон, к которым постоянно обращается Сократ и которые создают видимость беседы.

Еще ни в одном диалоге Платона не было столько молчаливых гостей, какие собрались в доме Кефала. Никакого участия в разговоре не принимают сыновья Кефала — Лисий (будущий знаменитый оратор) и Евтидем, Никерат — сын полководца Никия, софист Хармантид, другой софист — ученик Фрасимаха. Диалог превращается в размышление Сократа об идеальном государстве, и он только для видимости обращается к своим соседям, и те односложно ему поддакивают. Каким-то запоздалым напоминанием о давних бурных спорах с софистами является здесь фигура Фрасимаха из Халкедона, находчивого, умного, но упрямого и самоуверенного. Впоследствии, обманутый в своих идеалах, он повесился, хотя успешно обучал других удобствам житейской мудрости. Фрасимах — единственный оппонент Сократа, который порывается вмешаться в разговор, а сидящие рядом его удерживают. Но тот, по словам Платона, как зверь, весь напрягшийся, набрасывается на Сократа и его собеседников, прекрасно видя, что все они «играют в поддавки». Он давно раскусил иронию Сократа и его манеру прикидываться простаком. Этот напористый софист несколько оживляет беседу своей перебранкой с Сокра-

том, вступая в нее в начале первой книги, где ставится вопрос о том, что такое справедливость.

Форма вопросов и ответов в «Государстве» удобна для Платона как проверка собственных мыслей и теорий. И он то и дело заставляет робких собеседников подавать реплики, чтобы создать повод для дальнейшего развития идей Сократа.

Размышления в «Государстве» с трудом поддаются системе, и поскольку все сочинение есть как бы рассказ Сократа о давней встрече, то это очень хорошее основание для того, чтобы Сократ один пересказывал все реплики и один вел беседу за всех.

По сути дела, «Государство» — это как бы сценическое представление, где участвует один актер, разыгрывающий сразу все роли. Но только здесь не театр драматических ситуаций, а драматизм мысли, взятый в чистом виде и из-за сложности этого процесса трудно прослеживаемый, а иной раз даже неуловимый.

«Законы» — произведение престарелого Платона, умудренного и разочарованного жизнью. Перед нами неторопливая беседа трех старцев, текущая медленно, с повторами, возвратами, углублением и оттачиванием мысли, строящей законодательство того общества, которое было теоретически обосновано Платоном в «Государстве».

Действие происходит не в любимых Афинах, а на Крите, родине мифического законодателя Миноса. Здесь встречаются гость из Афин (в котором соблазнительно видеть самого Платона), критянин Клитий и спартанец Мегилл, обсуждающие лучшее государственное устройство.

Два старца, гордые тем, что Зевс и Аполлон передали свои законы царю Миносу на Крите и Ликургу в Спарте, делятся своей мудростью с третьим, приехавшим из Афин. Беседа ведется в пути по жаркой дороге с отдыхом под тенью деревьев.

Впереди ждет беседующих святилище Зевса Идейско-

го, и все трое ободряют друг друга речами. Но среди изобилия мудрых речей о жестких законах нового государства не хватает доброго смеха Сократа, его ласковой и хитровой улыбки, его задорных вопросов. Сократ, неприменимый участник всех диалогов Платона, теперь слишком далеко. Сократ ушел, и с ним исчез пафос диалектического спора. Зато перед нами полное согласие собеседников, придумывающих все новые и новые тонкости, чтобы регламентировать каждый шаг человека. Мысль их не движется от сталкивающихся противоречий, а вращается сама в себе, не выходя в бескрайние и опасные просторы духа. Она неподвижна, как день летнего солнцестояния, в который протекает беседа. Сократа впервые нет в этом последнем сочинении Платона. Но зато здесь присутствует высший арбитр в виде некоего Ночного Совета, который уже мысленно придумывают для нового государства старцы. И этот совет старейшин (а в него, конечно, войдут и наши три спутника) состоит из десяти очень старых и очень беспощадных законодателей. Платон с тяжестью в сердце признается, что это «божественное собрание» держит в руках все государство и в предрасветном сумраке, еще до восхода солнца, решает судьбу каждого нового дня идеального общества.

Так заканчивается развитие диалогов Платона, как драмы мысли, превращаясь постепенно в отрицание самой этой плодотворной формы, а значит, и упраздняя главного искателя истины и виновника страстных споров — самого Сократа.

Иллюзия Действительности



Как бы ни была разнообразна форма диалогов Платона, он неизменно тщательно подготавливает главную, находящуюся в центре внимания автора проблему. Казалось бы, зачем нужно Платону так присматриваться к бесконечным мелочам и деталям, упоминать множество действующих лиц, объяснять подробности, связанные с поводом для встречи героев, указывать на дату, число, даже час разговора? Но когда все это обилие разбросанных очень непринужденно, а на самом деле заботливо распределенных фактов собрано воедино, то невольно рождается чувство удивительной правдоподобности событий, изображаемых в диалоге.

Мы приходим к выводу, что Платон был чрезвычайно озабочен тем, чтобы воспроизвести реально условия и основания для своих драматических сцен. В диалогах, где непременно фигурирует Сократ, Платон хочет казаться непредвзятым летописцем его славной жизни и предста-

вить ее как сцепление вполне реальных фактов, подтвердить которые готовы многие очевидцы. Здесь явное стремление создать иллюзию реального действия во времени и пространстве. Платон восполняет обилием приведенного материала полное отсутствие сведений, которые мог бы оставить, но не оставил потомству сам Сократ в своих так никогда и не написанных сочинениях.

Иллюзия реального бытия обусловлена у Платона твердой фиксацией времени того или иного события. Если распределить диалоги Платона по шкале этого художественно-условного времени, то окажется, что они все связаны с фактами из жизни Сократа, начиная с юных лет и кончая его смертью. Причем группировка диалогов такова, что самые большие, сложные и даже громоздкие диалоги укладываются всего лишь в несколько дней. Биография Сократа предстает перед нами чрезвычайно сжатой во внешнем протяженно-временном отношении, но зато тем более поражает необъятность его духа и глубина его мысли.

Интересно и то, что в диалогах, написанных стариком Платоном, Сократ рисуется или молодым, или очень условным, вне живых примет, или совсем отсутствует.

В диалогах раннего и зрелого времени перед нами тот Сократ, которого непосредственно знал и любил юноша Платон. Мы не думаем, что здесь происходит затемнение и стирание событий далекой юности в памяти Платона. Нет, просто Платон из области внешнего драматизма биографии Сократа переходит к области внутреннего драматизма, от метода философа-художника к глубоким раздумьям философа-теоретика, создающего свою систему, выходящую за пределы сократовского учения, и требующего огромного напряжения логической мысли.

Сократ появляется перед нами пылким юношей пятнадцати—двадцати лет в диалоге «Парменид».

Платон никогда не знал такого Сократа, поэтому здесь меньше всего реальных примет, связанных с самим

Сократом, но чтобы оттенить его молодость, подчеркивается прекрасная, крепкая старость шестидесятипятилетнего Парменида и зрелое цветение сорокалетнего Зенона. Встреча происходит якобы около 449 года в Афинах. Платон всячески самоустраивается, чтобы его не упрекнули в неясностях или неточностях. Это так называемый пересказанный диалог. Свидетелей диалога, бывшего многие годы назад, уже почти не осталось, и примечательное событие излагается через третьи руки. В прологе некий Кефал из Клазомен рассказывает своим собеседникам о своем приезде вместе с друзьями в Афины и о встрече с братьями Платона Адимантом и Главконом. Клазоменцы слышали, что Антифон, сводный брат Платона по матери, был близок с другом философа Зенона, Пифодором, и от него знал о бывшей в давние годы встрече Парменида, Зенона и Сократа в Афинах. Клазоменцы и афиняне отправляются в дом к Антифону, и тот пересказывает им со слов Пифодора и Зенона этот давний разговор.

Таким образом, Кефал излагает своим слушателям то, что он слышал от Антифона, которому, в свою очередь, со слов Зенона рассказывал Пифодор.

Вспомните в эту вереницу персонажей. Все это главным образом вполне реальные, исторические лица, и обстановка изображается непринужденно-естественная. Но временная перспектива столь удаляет от нас все подробности беседы, что она предстает перед нами в чистом виде, и читатель даже не вспомнит ни непосредственного рассказчика, ни целого ряда его предшественников. Их голоса затихли где-то вдалеке, и беседа между элейцами и Сократом будто и не нуждается в посредниках. Иллюзия живого разговора достигнута вполне. Но вместе с тем на всякий случай, про запас, всегда сохраняются не совсем достоверные свидетели этой беседы.

Действие «Протагора» будто бы происходит в 432 году, за год до начала Пелопоннесской войны. Место дей-

ствия — Афины, дом богача Каллия. Сократ — тридцатисемилетний цветущий человек. Критий, Агафон и Алкивиад — еще совсем юноши. Еще живы Перикл и его сыновья, умершие от чумы в начале войны. Все участники диалога — исторические лица: софисту Протагору было 48 лет, Продику — 38. В диалоге множество деталей и мелочей, уточняющих обстановку богатого дома, одежду и повадки гостей, суету слуг и слухи, ходящие по городу о приезде Протагора.

Эти подробности вполне естественны, так как диалог представляет собою рассказ Сократа некоему другу о только что бывшей вчера встрече с Протагором.

В диалоге «Протагор» живой, молодой Сократ полон любопытства, задора, иронии, и поэтому он так насмешливо точно и беспощадно рисует пышный ритуал явления Протагора собравшимся гостям и характеристики присутствующих. Однако в споре Сократ представлен чересчур умудренным и опытным, таким, каким его хорошо знал Платон. Зато отдаленность времени создает видимость совершенно непредвзятой картины пока еще довольно благодушного спора между противниками, не успевшими надоесть друг другу.

В «Государстве», «Тимее» и «Критии» тоже достаточно мелких подробностей, уточняющих время и место разговоров. Действие их происходит будто бы в 421 году, когда Платону было всего шесть лет, а Сократ был полный сил сорокавосьмилетний мужчина. Уточняется и месяц беседы — таргелион (май—июнь), тот самый, в который родился Платон. Упоминается красочный праздник в честь Артемиды — Бендиды, почитаемой фракийцами и афинянами. Место беседы — Пирей, близ Афин, в доме приехавшего в Афины по приглашению Перикла оратора сицилийца Кефала, умершего в 404 году. Указаны даже часы, в которые протекает беседа, — между дневным торжественным шествием в честь богини и вечерними лампадодромиями — бегом с факелами тоже в ее честь.

В доме Кефала присутствовали лица реальные, исторические. Это сыновья Кефала Полемарх, Лисий и Евтидем, судьба которых была хорошо всем известна. В правление Тридцати тиранов Полемарх без предъявления обвинения был приговорен к смерти и вынужден был выпить яд цикуты. Лисий бежал из Афин, потом вернулся и стал знаменитым оратором. Здесь же родные братья Платона Адимант и Главкон, Никерат, софист Фрасимах с учениками и поклонниками. Но примечательно, что все, кроме Фрасимаха, выполняют роль статистов молчаливых или подающих необходимые реплики.

Так как «Государство» — пересказ Сократом беседы в доме Кефала, временной перспективы здесь совсем нет. Впечатления беседы совершенно свежи в памяти Сократа. Вот почему он так обстоятельно ее передает со всеми мельчайшими оттенками и извилинами процесса мысли. Нет ничего удивительного, что Сократ исполняет партии сразу за всех собеседников. Их голоса еще звучат в его памяти. И многочисленные гости в доме Кефала для Платона только предлог, чтобы раскрыть во всей полноте ход мыслей Сократа, а по сути дела, своих собственных.

«Тимей» и «Критий» примыкают по времени их действия к «Государству». Через два дня после Бендидий приносят жертвы Афине. Может быть, это праздник омовения Афины — Плинтерии. Участники беседы — Сократ, Тимей Локрский, пифагореец, Гермokrat, сицилийский полководец, и Критий, хозяин дома, родственник Платона. Пелопоннесская война в разгаре, но гости, видимо, приехали в момент затишья, возможно, в период Никиева мира (421 г.). Пройдет несколько лет, и Гермokrat, беседующий с Сократом, станет вдохновителем победы над афинскими морскими силами в сицилийской компании 415 года, которую потом драматически опишет историк Фукидид.

Здесь много мелких деталей, как будто необходимых для создания иллюзии действительности, но на самом де-

ле вносящих путаницу в свидетельства отдаленных очевидцев и даже ставящих под сомнение фигуру Крития. А Платону как писателю и нужно, с одной стороны, представить весь антураж «Тимея» и «Крития» как можно более реально, с другой — сам рассказ хозяина дома о легендарной Атлантиде сделать настолько проблематичным, чтобы не нести за него никакой ответственности. Вся она перекладывается на рассказчика.

Критию, тогда десятилетнему мальчику, рассказал об Атлантиде его девяностолетний дед, тоже по имени Критий, который, в свою очередь, слышал историю от своего родича, знаменитого Солона. Что осталось в памяти десятилетнего ребенка, а теперь старика, который вспоминает те времена, когда стихи Солона были еще новостью, остается на совести рассказчика, а это как раз и нужно Платону.

Установив столь отдаленные временные связи, Платон может со всей присущей ему богатейшей фантазией, не отвечая за истину древних событий, живописно расписать мифическую войну атлантов и афинян, а затем и все устройство великой Атлантиды.

Время действия столь отдаленно, что автор может с ним никак не считаться, и временная перспектива нужна ему только как повод или рамка для своего собственного повествования. Но иллюзия живой беседы и свежести воспоминания Крития сохраняется вполне.

В три дня месяца таргелиона 421 года Платон умещает три диалога, из которых одно только сочинение «Государство» занимает целый том.

Сжатость фактического времени здесь предельная, но это никак не отражается на развитии излагаемых идей. Мысль сама по себе беспредельна, и никакие рамки реально ограниченного времени ей не помеха.

События «Федра» и «Пира» относятся Платоном к 416 году, когда Сократу было за пятьдесят, Федр был еще двадцатилетним юношей, а Алкивиад уже достаточ-

но опытный в политике тридцатичетырехлетний мужчина.

Мирный пейзаж на берегу реки Илуса, где под платанами на зеленой траве среди прибрежных кустов и аромата летнего полуденного зноя пристроились Сократ и Федр, создает интимную обстановку доверчивых отношений старшего и младшего собеседников. Эта полная как будто достоверных подробностей и примет идиллическая обстановка в окрестностях Афин прекрасно гармонирует с темой диалога «Федр», посвященного определению любви.

Вот как беседуют друг с другом Сократ и Федр:

«Федр. Но где же, по-твоему, нам сесть и заняться чтением?»

Сократ. Свернем сюда и пойдем вдоль Илуса, а там, где нам понравится, и сядем в затишье.

Федр. Видно, кстати я сейчас босиком. А ты-то всегда так. Ногам легче будет, если мы пойдем прямо по мелководью, это особенно приятно в такую пору года и в эти часы.

Сократ. Я за тобой, а ты смотри, где бы нам присесть.

Федр. Видишь вон тот платан, такой высокий?

Сократ. И что же?

Федр. Там тень и ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь.

Сократ. Так я вслед за тобой.

Федр. Скажи мне, Сократ, не здесь ли где-то, с Илуса, Борей, по преданию, похитил Орифию?

Сократ. Да, по преданию.

Федр. Не отсюда ли? Речка в этом месте такая славная, чистая, прозрачная, что здесь на берегу как раз и резвятся девушкам.

Сократ. Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся, тенистая верба великолепна: она в полном цвету, все

кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, видно, здесь святилище каких-то нимф и Ахелоя. Да если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень приятный; по-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное — это то, что здесь на пологом склоне столько травы — можно прилечь, и голове будет очень удобно. Право, ты отличный проводник, милый Федр.

Федр. А ты поразительный человек, до чего же ты странен! Ты говоришь, словно какой-то чужеземец, нуждающийся в проводнике, а не местный житель. Из нашего города ты не только не едешь в чужие страны, но, кажется мне, не выходишь даже за городскую стену.

Сократ. Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе.

Впрочем, ты, кажется, нашел средство заставить меня сдвинуться с места. Помахивая зеленой веткой или каким-нибудь плодом перед голодным животным, ведут его за собой — так и ты, протягивая мне свитки с сочинениями, поведешь меня чуть ли не по всей Аттике и вообще куда тебе угодно. Но раз уж мы сейчас пришли сюда, я, пожалуй, прилягу, а ты расположись, как тебе, по-твоему, будет удобнее читать, и приступай к чтению».

«Федр» объединен с диалогом «Пир» и его темой высшей красоты и высшего Блага. Однако связь эта ощущается не только в единстве логически-проблемном и временном, но в самой атмосфере праздника. Сократ и там и здесь в окружении молодежи, друзей, учеников. Знойная безмятежность летнего дня в «Федре» и пиршественное торжество в гостеприимном доме Агафона в «Пире». И там и здесь настоящее духовное пиршество. И хотя в «Федре» редкая для Платона непосредственная беседа, никем не пересказанная, а в «Пире» нас ожидает

целое нагромождение посредников в рассказе, этот последний производит впечатление одной из острейших драматических сцен Платона.

В «Пире» рассказ ведется от лица ученика Платона Аполлодора Фалерского, идущего из дома в Афины и встретившего по дороге своего приятеля Главкона. Сам Аполлодор на пиру у Агафона не был, а слышал о нем от Аристодема, неотступно следующего за Сократом. Самое интересное, что все пиршественные речи об Эроте Аполлодор, со слов Аристодема, пересказывает своим друзьям шестнадцать лет спустя (около 400 г.) после пира у Агафона, воспроизводя полностью свою давнюю беседу с Главконом. Итак, перед нами оказывается пересказ беседы одного лица со вторым лицом о событии, услышанном от третьего лица.

Здесь, таким образом, тройная зависимость слушателей Аполлодора от исходного источника.

Метод передачи рассказа в рассказанном давно рассказе дает Платону полную свободу действий, одновременно создавая полную иллюзию реальных событий во времени и пространстве. В конце концов читатель и вовсе забывает обо всех этих посредниках и упивается тонкостями застольных речей о божестве любви и веселыми интермедиями. В финале «Пира» даже нет ни одного упоминания о рассказчике Аполлодоре. Он исчез бесследно. И только верный Аристодем, неожиданно появившийся в заключительной строке диалога, продолжает следовать как тень по пятам Сократа. Не для того ли, чтобы еще и еще раз поведать о своем учителе любопытным собеседникам, которые в свою очередь приукрасят увлекательным вымыслом очередное событие из жизни Сократа и разнесут его по свету?

Диалоги триады «Теэтет», «Софист», «Политик», очень сложные по типу развития внутренних перипетий мысли, не только примыкают один к другому тематически, но и происходят подряд в течение трех дней. В «Теэтете»

тот же принцип, что и в «Пире», только временная перспектива уходит еще дальше. Перед читателем запись диалогов старика Сократа с его друзьями накануне судебного процесса. Запись эту сделал Эвклид из Мегар со слов своего учителя Сократа, затем уточнил и восстановил давние страницы. В дни Коринфской войны (около 369 г.) Эвклид повстречался с тяжело раненным и больным Тезтетом, теперь уже человеком зрелых лет, которого везли из Коринфа через Мегару в Афины. Эвклид делится впечатлениями об этой войне с Терпсионом, старым другом, свидетелем кончины Сократа. Нахлынувшие воспоминания и просьба Терпсиона показать рукопись бесед Сократа с Тезтетом приводят друзей в дом Эвклида, где по их просьбе слуга читает им запись, сделанную в чисто диалогической форме. Перспектива тридцатилетней давности при записи беседы Эвклидом — превосходный прием Платона для того, чтобы оправдать отвлеченность мысли и тончайшее ее плетение в диалоге, а также постепенное отодвигание в тень Сократа, еще участвующего в беседе в первый день, но во второй и третий — только наблюдателя и слушателя.

В «Горгии», действие которого мыслится Платоном в 405 году, в «Меноне» (беседа относится автором приблизительно к 402 г.) облик Сократа и его споры с идейными противниками получают наиболее драматическую окраску. Здесь тот Сократ, которого хорошо знал и помнил сам Платон. Писателю не требуется окружать героя вымышленными подробностями и множеством якобы настоящих свидетелей. Теперь точная фиксация времени служит иной цели. Она не отстраняет события вдаль, откуда они кажутся в несколько сдвинутом плане, здесь все больше разрастается учение Сократа, приобретающее черты учения самого Платона, при одновременном усилении схематичности образа реального Сократа. Фиксация не прошлого, а только что бывшего, почти длящегося в настоящем времени, наоборот, укруп-

няет Сократа-человека, доводя до предела осязаемость его речей и поступков. Поэтому одиночество и покинутость Сократа, ощущающиеся в «Горгии» и «Меноне», обретают драматический исход в «Апологии» и «Критоне», где Сократ предстает перед судьями в тюремном заключении.

Но наиболее интересный в этом отношении диалог «Федон» — продукт зрелого, самостоятельного Платона, это формирование его концепции идей и вместе с тем прощание с ученичеством у Сократа. Здесь объединяются два художественных принципа — принцип биографического, реального драматизма личности Сократа и вместе с тем полная отстраненность автора (о кончине Сократа рассказывает Федон в беседе с пифагорейцем из Флиунта Эхекратом). Правда, Федон — непосредственный, ближайший ученик и свидетель, а между гибелью Сократа и встречей во Флиунте, куда еще не дошли известия о печальном событии, прошло всего около месяца. Жизнь воспоминаний, прошлое как живое настоящее и сам Платон, по болезни не присутствующий при кончине учителя, создают трагическую атмосферу прощания с Сократом.

Но по всему чувствуется: умирая, Сократ, исцелен и еще вернется к жизни, только уже на страницах платоновских диалогов. И действительно, пройдет несколько лет, и в «Пире» Платон устами Алкивиада воздаст живому Сократу величайшую хвалу.

А когда Платон сам станет стариком и создаст в «Законах» идеал сурового и жестокого законодательства, то на страницах этого сочинения не найдется места Сократу, вся жизнь которого противоречила строгости и безликости закона. Как бы Платон ни расписывал приметы времени беседы трех старцев вблизи критского Кносса (конец нового года, месяц скирофорийон, июнь—июль — празднества Афины и Зевса, покровителя государства), все эти указания лишены реальности и имеют чисто

символический характер. В «Законах» нет движения времени и даже сами мысли собеседников как бы топчутся на месте. Поэтому здесь нет необходимости в присутствии вечно спорящего и стремящегося вперед в поисках новых и новых вопросов и ответов Сократа. Здесь время остановилось. Недаром действие происходит в канун Нового года, в самый долгий день, когда солнце в течение недели как бы стоит неподвижно, прежде чем день пойдет на убыль. Это день летнего солнцестояния и вместе с тем ожидаемого солнцеворота, канун нового аттического года, который начнется в первое полнолуние после солнцестояния, когда солнце войдет в тропик Козерога.

Сам Платон, как и три старца из «Законов», стоит на перепутье. Что получится из нового законодательства? Осуществится ли их идеально-суровое государство? Но на пороге ожидания перемен и на пороге смерти самого Платона («Законы» остались в черновиках) время остановилось и застыло. Исчезла не только сама действительность, но даже и иллюзия действительности.

Остались только символ и утопия, в которых не оказалось места для Сократа живого, всегда действующего, остро чувствующего реальность бытия.

Платон — мифотворец и утопик



Платон был неисправимый мечтатель. Всю жизнь он стремился не только созерцать возвышенные идеи в стенах Академии, но отважно пускался в путь, часто с опасностью для жизни, чтобы претворить свои идеи в образец справедливого, просвещенного государства. Однако практические усилия Платона, уже по одному тому, что они опирались на сиракузскую тиранию, так и остались бесплодными мечтаниями.

Зато для философского творчества Платона эти мечтания оказались чрезвычайно плодотворными. Они придали его сочинениям совершенно особый, изящный, тонко-художественный оттенок, освободив их от профессиональной сухости и узости.

Платон не только философ-теоретик во всеоружии научного аппарата логических категорий и неопровержимых доводов. Нет, он прямо с каким-то восторгом вдруг неожиданно погружается в самую замысловатую фанта-

стику, вспоминает древние мифы, конструирует новые, наполняет их жгучей для его времени проблематикой и снова возвращается к прекрасной поэтической мечте, заставляя доверчиво следовать за собой читателя.

В сочинениях Платона настолько тесно переплетаются ученость и художественность, что разделить их невозможно, так же как немисливо отделить Платона-философа от Платона-поэта.

Можно сказать и так: ученое слово, или логос, неразрывно связано у Платона с поэтическим словом — мифом. Если в логосе он выражал свое умение в процессе мысли расчленив, выделить, раздельно исследовать предмет, то в мифе с помощью небывалого воображения он представлял этот предмет как живую целостность, в которой обобщались опыт прошлого и мечты о будущем. Миф и логос дополняют у Платона друг друга. Строжайший анализ, присущий рассуждающему логосу, слит у Платона с вымыслом мифа и его беспредельной изобретательностью¹.

Платон был настоящим теоретиком и создателем философских идей, как это понимали именно греки. Их «теория» (theoria) означает не отвлеченное созерцание, а «видение». Слово же «идея» (idea) есть «предмет видения». И если герои Гомера «мыслят глазами», так как древний поэт не разделяет процессы умственной или психической и физиологической деятельности, то классический грек Платон все еще сохраняет непосредственность и свежесть поэтического мышления древних, за-

¹ В слове «логос» (logos) его древний индоевропейский корень *leg указывает на вычленение, разделение. Отсюда греческое legō — говорю, латинское lego — читаю, то есть разделяю звуки или слоги, чтобы затем их объединить вместе; или латинское elegans («элегантный»), то есть буквально: «избранный»; или старорусское «лекарь», то есть буквально: тот, кто произносит избранные слова для лечения, «заговаривания» болезни.

нятый как бы умственным созерцанием или делая объектом ученого рассуждения не абстрактную, а «видимую» им предметность, то есть идею.

Эта видимая, ощущаемая Платоном предметность наполнена жизнью и не боится никакого буйства воображения. Наоборот, мысль, обогащенная воображением, а это и есть миф, чрезвычайно ценится. И совсем не страшно, если вымысел доходит до степени того, что недалекие люди могут посчитать ложью или выдумкой.

Недаром Платона укоряли иной раз в том, что он изображал реальных лиц, часто не сообразуясь с фактами. Но придирчивые критики были чересчур прозаичны и рациональны, не замечая, как из того, что рядом, вырастает художественное произведение и что Платон как поэт и писатель имеет право на вымысел.

А что бы сказали эти критики, если бы обратились к Аристотелю, который считал главным в искусстве изображение не того, что есть, а того, что еще только может быть, находится в потенции, становится.

Скорее правы были не критики Платона, а древние поэты, которые утверждали, что «ложь во спасение» ничуть не хуже, чем истина. Именно выдумка, невероятный вымысел рождает поэзию и миф. Ведь древний поэт Гесиод восхвалял муз, богинь искусства, дочерей Зевса, которые знают, что было, что есть и что будет. Это они — мастерицы говорить ложь и правду, соединяя в своих божественных песнях истину и вымысел, воображение и реальность. Музы обучили Гесиода, поэта и мифотворца, умению воспевать прошедшее и будущее. С тех пор истинная поэзия постоянно заряжена мифом, в котором прошедшее и будущее сплетаются в одно неразрывное целое.

Платон, с юности тонко чувствующий поэзию, неизбежно должен был обратиться к мифу. И миф этот не столько был у него беспредметной сказкой и воспоминанием о прошлом, сколько устремлением в будущее, ибо



Музицирующий юноша.

Роспись килика. Греция. Первая четверть V в. до н. э.

он был рожден вдохновенным воображением и раздумьем о судьбе человека и общества.

Здесь, несомненно, сказался характер Платона-мечтателя, пытавшегося воплотить в жизнь свое идеальное представление о высшем благе и абсолютной истине. Но поскольку практические попытки Платона неизменно терпели крах, ему оставалось мысленно созерцать и свое наилучшее государство, и своего наилучшего правителя, и свои наилучшие законы. Идеал философии и мудреца оказался в области мечты, так как суровая действительность жестоко расправилась с тем живым Сократом, который учил афинян не казаться добрыми и справедливыми, а быть таковыми на деле.

Этот идеал был окрашен Платоном в тона восхищения и отличался такой изобретательностью, что сам Сократ однажды, слушая молодого Платона, воскликнул: «Клянусь Гераклом, сильно же навывдумывал на меня этот юнец». Но выдумка увлекающегося Платона обладала такой поэтической силой слова, что околдовала целые поколения, которые уже не отделяли реального Сократа от созданного поэтом воображаемого идеала философа.

Однако идеал справедливости и добра в жизни уходит от философа все дальше и дальше. Может быть, Платон отчаялся найти этот идеал. Если это так, то вполне закономерна попытка найти воплощение высшей справедливости и конечного торжества добра пусть даже в мире потустороннем, на другой земле — небесной. Вот почему одним из существенных, необходимых элементов диалогов Платона является миф, причем не заимствованный из богатейшего общегреческого наследия, а созданный самим философом.

Грекам издавна была известна небывалая сила слова, а значит, и мифа и поэзии. Они были убеждены в отдаленные времена, что слово магически заклинает, околдовывает, заговаривает, исцеляет или напускает

порчу. Слово, произнесенное с верой и убеждением, действительно. Древние мифы почитались как священное слово, а поэт, наследник мифотворцев, вдохновленный музами, тоже создавал возвышенные слова, исполненные глубочайшего убеждения.

Поэтому Платон пишет о мифах, что они очаровывают душу, могут научить человека добродетели и возвестить божественную мудрость. Мифы не нуждаются в логических доказательствах. Поэт горячо верит в миф, так как в нем тот идеал, который им выношен и выстрадан.

✓ Платон, философ и поэт, уверенно возводит здание своей идеальной мечты о совершенной красоте, в чем бы она ни воплощалась — в науке, обществе, морали, законодательстве. Его миф устремлен и нацелен на будущее вопреки всем стародавним традициям, которые всегда мифологизировали и идеализировали прошлое.

Миф Платона живописен, многокрасочен и «вылеплен» («пластичен», по выражению философа), как художественное произведение. Поэтому от него нельзя ждать логических доказательств и точной аргументации. В нем всегда есть недосказанность, эскизность, даже небрежность отделки, как при обтесывании глыбы мрамора. Некоторые мифы создают впечатление незавершенности, но в этом и состоит их прелесть. Они выписаны размашисто, уверенной кистью мастера, который убежден в реальности своего творчества, наполненного живыми многострадальными людьми — в поисках вечной истины.

Именно поэтическое, образное богатство мифа раскрывает перед Платоном множество художественных возможностей: сплетаются воедино трагическое и комическое, серьезное и ироническое, тяжеловесное величье и интимное изящество. Миф постоянно сопровождается у Платона логосом, философским размышлением, отчего поэтичность диалогов становится еще более удивительной.

Вот перед нами в «Пире» среди сугубо аналитической и логически аргументированной беседы о том, как достичь высшей красоты и высшего Блага, повествуется история рождения Эроса — бога любви. Платон с улыбкой рассказывает о пире богов в честь рождения богини Афродиты и о страсти Бедности — Пеннии к Богатству — Поросу.

Веселые боги пьют нектар, потому что вина тогда еще не было. Нищая, жалкая Пенния стоит у дверей, прося подаяния, а Порос засыпает опьяненный в роскошном саду. Пенния хитростью рождает от этого самодовольного красавца сына, Эроса, спутника Афродиты. Но в нем запечатлены в поразительном единстве все противоположные черты матери и отца. «Эрот всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, не обут и бездомен; он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но, с другой стороны, он тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовавший природу отца, он оживает опять. Все, что он ни приобретает, идет прахом, отчего Эрот никогда не бывает ни богат, ни беден». Эрот, как оказывается в конце концов, даже и не бог. Это сама любовь к прекрасному, вечное стремление к красоте, а значит, и вечные поиски мудрости, никогда не довольствующиеся ее обладанием и постижением.

«Он находится также посредине между мудростью и невежеством, и вот почему. Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры; да и вообще тот, кто мудр, к му-

дрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды... Ведь мудрость — это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот — это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, то есть любителем мудрости, а философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. Обязан же он этим опять-таки своему происхождению: ведь отец у него мудр и богат, а мать не обладает ни мудростью, ни богатством» («Пир»).

Если принять во внимание, что миф об Эроте вложен в уста Сократа, то можно прийти к любопытной догадке. Не есть ли этот образ, созданный Платоном-мифотворцем, символ самого Сократа, мудреца, бродящего по дорогам, некрасивого, бедного, босого и в жалком одеянии, но зато смелого и мужественного искателя истины и красоты.

А вот как забавно изображается здесь же в «Пире» якобы придуманная комедиографом Аристофаном мифологическая история о людях-половинках. Некогда на земле обитали чудовищные существа, с четырьмя руками и ногами и одной головой с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны. Чудовище «шло колесом», перекачиваясь на восьми конечностях. Замыслы у них были ужасные — взобраться на небо и покорить богов. Тогда Зевс прибегнул к уловке. Он не хотел убивать мерзких людей громами и молниями: кто же тогда будет приносить богам жертвы? Нет, он решил их попросту рассечь на две половинки. Разрезал их так ловко, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или, как режут яйцо волоском. Каждому из людей-половинок Аполлон, по приказу Зевса, поворачивал лицо в сторону

разреза, чтобы глядя на свое увечье, человек стал скромней. Стянув кожу человека-половинки, Аполлон завязывал ее, как завязывают мешок, и получился живот с пупком посередине. Грудь же Аполлон придал четкое очертание с помощью орудия, каким сапожники сглаживают на колодке кожу.

Люди, ставшие, наподобие камбалы, половинками, страдали от одиночества и разыскивали друг друга, чтобы соединиться вместе.

Так и каждый из нас, заключает уже серьезно рассказчик, ищет всегда по миру соответствующую ему половину, и Эрот есть не что иное, как стремление человека к изначальной целостности. И здесь забавная и даже грубоватая мифологическая история, вымышленная Платоном, обобщается им до степени символа целостности, который дошел вплоть до наших дней и приобрел возвышенный смысл.

В диалоге «Федр» изображается великолепное шествие богов и человеческих душ по небесному своду. Великий предводитель на небе Зевс на крылатой колеснице едет первым. За ним целое воинство богов и демонов, выстроенных в одиннадцать рядов, и каждый имеет своего предводителя. Боги, отправляясь на праздничный пир, поднимаются к вершине неба по краю поднебесного свода. Кони их идут легко по крутой, отвесной дороге, не теряя равновесия до тех пор, пока не выйдут наружу и не станут на хребте неба. И теперь уже сам небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба.

А что же души бедных смертных людей? Они то рвутся ввысь, достигая головой занебесной области, то опускаются вниз, и кони рвут удила, не давая душам подняться на вершину. Кони несутся по кругу в глубине неба, храпят, топчут друг друга, напуганы, уже возникшие не могут с ними совладать. Уже ломаются безжалостно крылья. И души, отягченные тем, что есть в них

дурного, безобразного, притягиваются к земле, ломают и теряют крылья, отдаляются от вершины неба и возвращаются на землю, чтобы воплотиться в материальное тело и начать новую жизнь. И так целых десять тысяч лет не возвращается душа из земного плена в небесные сферы, пока вновь не вырастут у нее крылья. Только душа человека, искренне возлюбившего мудрость, окрыляется за три тысячи лет. Остальные же души отбывают наказание в подземных темницах, искупая свою причастность ко злу.

Этот миф вполне реалистично рисует судьбу человека в бесконечной будущности, где блаженство обещано Платоном, не без умысла, только тому, кто искренне возлюбил мудрость. Мудрец чужд зла и безобразия. Он весь во власти добра и красоты, а значит, сопричастен богам и достигнет вершины небесного свода.

В «Государстве» рассказывается совсем уж поразительная история или миф о судьбе некоего отважного человека Эра из Памфилии, который был опасно ранен в сражении и на двенадцатый день, когда приступили к погребению погибших, ожил, лежа на костре. Душа его за этот промежуток успела побывать в ином мире. Сам же Эр удивил всех достоверным описанием своих загробных странствий.

Здесь рисуется суд над умершими, которым предписывается идти или на небо или в расселину под землей. Судьи привешивают душам на грудь знак своего приговора. Платон так увлекается рассказом, что изображает души умерших как самых настоящих живых людей. Одни из них в грязи и пыли, пройдя под землей долгий путь испытаний, другие чистые, спустившиеся с небес. И все располагаются на прекрасном лугу, как во время всенародных праздников. Они целуют друг друга, вспоминают знакомых, расспрашивают о земных и небесных делах. Одни со скорбью и слезами, натерпевшись на земле, другие с радостью повествуют о небесном блаженстве и

поразительной красоте занебесных высей. Эр же стоит, по велению судей, рядом, наблюдая за всем, вслушиваясь и вглядываясь, чтобы стать вестником для живого мира.

А как страшен рассказ о наказании тиранов на том свете. За все злодеяния тирана устье подземной расселины его не принимает, издавая глухой рев. Тогда какие-то дикие существа в огненном обличье хватают тирана, вяжут его по рукам и ногам, накидывают петлю на шею, валят наземь, сдирают с него кожу и волокут по колючкам, чтобы сбросить в Тартар. Так протекают в справедливом суде семь дней.

На восьмой — души идут так, чтобы за четыре дня добраться до места, откуда виден луч света, соединивший небо и землю. Он как радуга, только ярче и чище ее. С этого светового столпа свешиваются концы небесных связей. Ведь этот столп — узел неба; им, как брусом на кораблях, крепится небесный свод. На концах связей висит веретено богини Ананки — Необходимости, или Судьбы.

Это веретено сияет оттенками всех цветов, в которые окрашены восемь его вдетых друг в друга полых сфер. Один из кругов — пестрый, другой — белый, иной — красноватый, некоторые — желтые. Веретено вращается, но внутренние семь кругов медленно поворачиваются в противоположном направлении и неравномерно. Отсюда — переливчатость цветового сияния всех восьми сфер мирового веретена, которое на коленях, как настоящая пряха, держит Ананка.

На каждом круге веретена восседает сирена, и каждая из сирен издает только один звук всегда определенной высоты, что создает стройное созвучие октавы, рождающей музыку небесных сфер.

Около сирен сидят три Мойры — богини Удачи, дочери Ананки — Лахесис, Клото и Атропос. Они все в белом, с венками на головах. В лад с голосами сирен

Лахесис — та, что дает выбрать человеку его жребий, — воспекает прошлое. Клото, прядущая нить жизни, воспекает настоящее. Атропос, та, которая не поворачивает назад, определяет направление нити и воспекает будущее. Втроем они помогают вращению веретена.

Души людей покорно ждут своей участи. Наконец некий прорицатель, взяв с колен Лахесис жребий и образчики жизней, всходит на высокий помост, чтобы бросить в толпу пригоршни жребиев. Каждый должен добровольно сам избрать себе жребий предстоящей жизни, не обвиняя ни в чем божество.

Эр становится свидетелем выбора жизней, часто случайного, непродуманного, без внимания к последствиям или, в память о прошлых страданиях, совсем удивительного. Кто-то выбирает по неразумию жребий тирана, а потом бьет себя в грудь и горюет, увидев свое страшное будущее — пожирание собственных детей и бесчисленные злодеяния. Этот человек пришел с неба и был там очищен от зла предыдущей жизни. Но он не был закален в трудностях, и добродетель его была делом привычки, а не зрелого философского размышления. Тот же, кто пришел сразу после земных странствий, выбирает с осторожностью, не торопясь, сознавая свою ответственность за судьбу в новой жизни.

Иные даже выбрали жребий животных и птиц, разувшись в людях. Орфей избрал жизнь лебедя, поэт Фамирид — соловья, а герой Аякс — орла. Насмешник, издевавшийся над всеми, Ферсит перевоплотился в обезьяну. Самой последней выбрала себе новую жизнь душа знаменитого Одиссея. Вспомнив страдания и тяготы, отбросив честолюбие, он долго разыскивал жизнь обыкновенного человека, далекого от дел. Все этим жребием пренебрегали, и Одиссей насилу нашел ее, где-то валявшуюся. А затем вся вереница, готовая к новой жизни, направилась к Лахесис. Каждому по его выбору богиня давала в спутники гения жизни. Тот,

в свою очередь, вел душу к Клото, чтобы она утвердила избранную участь. Прикоснувшись к руке богини, душа шла к третьей, Атропос, которая уже делает нити жизни неизменными. И вот души теперь уже могут идти к престолу самой Ананки, проходят сквозь него и в страшный зной отправляются на равнину реки забвения Леты. Уже под вечер приходят души к реке под названием Амелет, то есть «уносящей заботы», воды которой надо испытать в меру, чтобы совсем не утратить память. Все мирно ложатся спать, но в полночь среди грома и землетрясения души каким-то вихрем несутся в разные стороны, где им суждено родиться для нового круговорота жизни. Как звезды, они рассыпаются по небу.

Самому же рассказчику Эру не было дозволено ни поднять с земли жребия, ни испытать воды. Он не знал, где и каким образом душа его вернулась в тело. Внезапно очнувшись, он увидел себя лежащим на костре.

В заключение Сократ говорит, что вера в этот благочестивый миф спасет человека, и он легко перейдет через Лету и не осквернит своей души. Здесь Платон наполняет глубоким смыслом мастерски вылепленный миф. Человек должен сам отвечать за избранную им жизнь, не обвиняя ни обстоятельства, ни богов. На какую бы жизнь тысячелетних странствий судьба ни обрекла человека, ему надо держаться высшего пути и всячески следовать справедливости и разумности.

Платон достигает необычайной яркости и рельефности в изображении той благодатной и счастливой жизни, о которой только может мечтать человек и которая остается за пределами досягаемости.

С горечью пишет философ в «Федоне» о нашей несовершенной земле, изрезанной глубокими впадинами, куда стекаются вода, туман, воздух и где обитаем мы, люди, среди ила и грязи, как рыбы на дне моря, смутно представляя себе солнце и небо и никогда не выбираясь на бескрайние просторы. О, если бы люди могли увидеть

занебесные выси и ту истинную землю, что покоится в истинном небе, пеструю, как цветной мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи, и излучающую истинный свет.

Краски там яркие и чистые. «В одном месте Земля пурпурная и дивно прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая — белее снега и алебаstra; и остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом и они прекраснее всего, что мы видим здесь. И даже самые ее впадины, хоть и наполненные водою и воздухом, окрашены по-своему и ярко блещут пестротой красок, так что лик ее представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным.

Вот какова она, и, подобные ей самой, вырастают на ней деревья и цветы, созревают плоды, и горы сложены по ее подобию, и камни — они гладкие, прозрачные и красивого цвета. Их обломки — это те самые камешки, которые так ценим мы здесь: наши сердолики, и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода. А там любой камень такой или еще лучше. Причиною этому то, что тамошние камни чисты, не изъедены и не испорчены — в отличие от наших, которые разъедает гниль и соль из осадков, стекающих в наши впадины: они приносят уродства и болезни камням и почве, животным и растениям.

Всеми этими красотами изукрашена та Земля, а еще — золотом, и серебром, и прочими дорогими металлами.

Они лежат на виду, разбросанные повсюду в изобилии, и счастливы те, кому открыто это зрелище.

Среди многих живых существ, которые ее населяют, есть и люди: одни живут в глубине суши, другие — по краю воздуха, как мы селимся по берегу моря, третьи — на островах, омываемых воздухом, недалеке от материка. Короче говоря, что для нас и для нужд нашей жизни вода, море, то для них воздух, а что для нас воздух, для

них — эфир. Зной и прохлада так у них сочетаются, что эти люди никогда не болеют и живут дольше нашего. И зрением, и слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от нас настолько же, насколько воздух отличается чистотою от воды или эфир — от воздуха. Есть у них и храмы, и священные рощи богов, и боги действительно обитают в этих святилищах и через знамения, вещания, видения общаются с людьми. И люди видят Солнце, и Луну, и звезды такими, каковы они на самом деле. И спутник всего этого — полное блаженство». Как отличается вся эта небывалая красота и от нашей печальной жизни в расселинах земли, и от тех страшных глубин и чрева земли, где терпят мучения злодеи и святотатцы! Человек, говорит Платон, должен вырваться из серых будней своей приземленной жизни и, совершенствуясь морально и духовно, стремиться к занебесным высям, пусть даже недостижимым, но вечно зовущим и сияющим своей идеальной красотой.

А вот миф о Вселенной, которая, по мнению Платона («Тимей»), была создана мудрым строителем, мастером — демиургом — по его собственному подобию. Демиург, как мудрый и добрый отец, придумал все части космоса, придав ему сферическую форму и наделил его таким совершенством, что, будучи живым, космос вместе с тем не нуждался ни в глазах, ни в слухе, ни в органах пищеварения, ни в ногах и руках. Он вращается сам в себе, созерцая самого себя и довольствуясь познанием самого себя.

Космос всегда молод и вечен, ибо он не знает бега времени, а значит, и старости. Таким в полноте блаженства создал великий мастер свое идеальное детище. И люди были вначале задуманы демиургом по образу живого космоса. Однако у мастера-демиурга осталось в сосуде лишь немного прежней смеси, из которой он создавал космос, и от нового перемешивания она утерала свою чистоту. Поэтому те, кто населил Вселенную, ока-

зались смертными, а значит, подверженными как добру, так и злу, как возвышенным чувствам, так и тягчайшим порокам. Отсюда — горестная судьба человечества.

Платон высоко оценивает заложенные в человечестве силы, но его мечта — чтобы они творили благо и красоту, проявляя хотя бы частицу своего бессмертного начала. Пока же вокруг себя Платон видел слишком много несправедливостей и преступлений, общественных и частных. Он готов переделать несовершенную природу человека, но, как мы уже знаем, его чаяния — это утопия, миф.

В своем огромном сочинении «Государство» Платон строит модель вот такого исправленного и улучшенного человеческого общества.

Во главе идеального государства стоят философы, созерцатели чистых и вечных идей, которых защищают воины, а все жизненные ресурсы доставляют им свободные земледельцы и ремесленники.

Философы и воины не имеют никакой частной собственности и беспощадно караются за хранение золота и серебра. Собственность — привилегия крестьян и мастеровых, ибо она не мешает работать, будучи, однако, губительной для тех, кто предан высоким размышлениям. В этом государстве нет замкнутой семьи, отягощенной бытом. Здесь совместные браки, и дети воспитываются на общественный счет, зная, что их общий родитель — само государство, которому они преданы с малых лет. Из идеального города изгнаны размягчающие душу мелодии и песни. Здесь допускается только воинственная, бодрая музыка, укрепляющая душу. И воспитание направлено на укрепление ума и прекрасного тела.

Сколько раз в Новой Европе, каждый раз на свой манер, варьировалась эта вечная платоновская тема идеального государства!

Как не вспомнить Ямбула с его государством Солнца

или философа III века н. э. Плотина, строившего счастливый город в честь Платона. А в эпоху Возрождения мечтают великие утописты Томазо Кампанелла («Город Солнца»), Томас Мор («Утопия»), Фрэнсис Бэкон («Новая Атлантида»). В начале XIX века — это утопические мечтатели Роберт Оуэн, Сен-Симон и Шарль Фурье.

Но все эти заманчивые конструкции со времени Платона оставались несбыточными, утопическими, буквально «не имеющими места на земле»¹, достоянием великих мечтателей. А сам родоначальник бесчисленных утопий на пороге смерти все еще разрабатывал проекты лучшего в мире государства («Законы»), которым будут управлять десять мудрых старейшин, установивших суровое законодательство, чтобы человек полагался только на них, а не на свою волю и страсти. Да и какая может быть своя воля у человека, рассуждал старый Платон, если все мы куклы, управляемые нитями, которые приводит в движение божественная рука! Поэтому надо ограничить свои потребности, упразднить богатство и роскошь, думать о пользе общества, воспевая в хороводах мудрость законов. И это еще одна утопия Платона, жестко и насильно ограничивающая человека.

Платон, отчаявшись в практическом преобразовании несправедливого тиранического государства, то зовет к далекой старине, где вся ответственность ложится на плечи мудрых старейшин, то укрепляет мораль и устойчивость государства насильственным путем, теми же самыми жестокостями, что были в обычае у тиранов.

Почтительный страх перед богами и законами, будто бы освященными божественной волей, оказывается основой счастливого общества. Безвыходность такой утопии вполне очевидна. И сам Платон это великолепно чувствует, когда называет и «Государство» и «Законы»

¹ Греческое «ου» — нет, topos — место.



Афинский народ, венчаемый Демократией.
Стела. Греция. 336 г. до н. э.

не чем иным, как «мифами», осуществление которых он относит к неведомому будущему, сам не очень-то веря в него.

Платон в поисках идеала обращается и к старинным преданиям о некоем «золотом веке», предмете воздыханий и современников и предшественников. Как сожалеет поэт Гесиод о том, что ему приходится жить в «железный век», когда господствует право кулака, не уважают старших и бедный дрожит в когтях богатого! За четыреста лет до Платона Гесиод с тоской обращается к прошлому, когда люди «золотого века» не знали труда, а земля сама рождала им готовое пропитание. Или как в «серебряном веке» до ста лет люди пребывали в детском возрасте. И даже смерти не было у праведных людей; они погружались в подобие сна или наслаждались жизнью на островах Блаженных.

Прошлое для античного человека было притягательно и заманчиво. Платон первый обратил свои мысли к счастливому будущему. Но мы видим, как сурово строилось в государстве это предписанное законами счастье.

Платон — плохой политик и прекрасный поэт — то с надеждой строит идеальный город будущего, то ищет его образец в отдаленном прошлом, и там и здесь обращаясь к мифу как сплаву поэзии и мысли.

Одна легенда особенно волнует Платона, та, которая и поныне никого не оставляет равнодушным, — легенда об Атлантиде. Эта замечательная история была рассказана, по преданию, предку Платона, афинскому законодателю Солону египетскими жрецами, у которых он набирался мудрости.

Для египтян с их тысячелетним прошлым, записанным загадочными иероглифами, греки всегда оставались детьми, юными умом, не сохранившими никакого учения, переходившего из рода в род и поседевшего от времени.

В диалоге «Тимей» египетский жрец повествует Солону о древних Афинах, граждане которых были мужественны, подобно основавшей их город богине. Некогда афинское государство положило предел дерзости несметных воинских сил, шедших со стороны Атлантического моря на завоевание Европы и Азии. В те далекие времена через это море еще можно было переправиться, так как перед проливом, образуемым Геракловыми столпами (Гибралтар), лежал громадный остров, превосходивший размерами Ливию и Азию, взятые вместе. Этот гигантский остров назывался Атлантидой, и с него можно было добраться до противоположного материка, охватившего настоящее, бескрайнее море, а не тот небольшой его кусочек в виде залива, что именуется Средиземным. Заметим, что Платон вполне резонно именуется здесь Атлантику морем, так как Океаном мифы называли реку, которая омывала со всех сторон землю.

Атлантида была во власти мощного союза царей, овладевшего частью материка и по эту сторону пролива, Ливией, вплоть до Египта, и Европой, вплоть до Тиррении (Этрурия в Средней Италии). И вот эта сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство все страны по эту сторону пролива. Именно тогда Афины дали всему миру блистательное доказательство своей доблести и силы. Афины стали во главе всех эллинов. Из-за измены союзников они остались в одиночестве, но все-таки одолели завоевателей. Своих соотечественников Афины спасли от рабства, другим народам дали свободу.

Невиданное землетрясение и наводнение за одни сутки погубило и победителей и побежденных. Разверзлись земля и море, поглотив воинскую силу афинян и Атлантиду. Атлантида погрузилась в пучину. Море снова сомкнулось, и только большие мели, мешающие судоходству, и громадные скопления ила и земли напоминают об осевшем на дно острове.

Легенда об Атлантиде¹, кратко изложенная в «Тимее», дала Платону повод с гордостью вспомнить о славных подвигах предков и вместе с тем была поводом к подробному рассказу о некогда счастливом государстве, погубленном богами за пороки. Платон как бы предупреждает и себя самого, и тех, кто мечтает о прекрасных законодательствах, чтобы законы соблюдались непременно, а граждане были доблестны духом и добры душой.

В диалоге «Критий» повествование об Атлантиде развивается с множеством подробностей. Оказывается, как рассказывает Критий, потомок Солона, война между Афинами и атлантами была девять тысяч лет тому назад (беседа Сократа, Крития и их друзей происходит будто бы в 421 г.), а судьба Афин и Атлантиды была связана с тем, как боги поделили между собою земные владения.

Гефест и Афина, с их любовью к мудрости и искусству, получили в удел Аттику, где мужчины и женщины славились добродетелью и совместно совершали воинские подвиги. Особенно почитались в этой стране воины, ничего не имевшие в частном владении и совместно владевшие всем необходимым, совсем как в идеальном государстве, о котором мечтал и Платон.

Воины обитали в столице Аттики на акрополе, вокруг святилища Афины и Гефеста, в то время как ремесленники и землепашцы вне акрополя, по склонам холма.

¹ Со времен античности происходили споры о существовании Атлантиды. Ее существование признавал философ Посидоний, естествоиспытатель Плиний Старший, поздние философы-неоплатоники и особенно Прокл, опиравшийся на сведения некоего безвестного Маркелла в его сочинении об Атлантиде. Были в античности и скептики, как историк и географ Страбон. Иные видели в рассказе Платона символические образы противоположностей. По этому вопросу существует большая современная литература.

На северной стороне акрополя воины имели общие жилища, помещения для общих зимних трапез и домашнее хозяйство. Жили они в большой скромности, не владея ни золотом, ни серебром, и после их смерти все имущество передавалось преемникам.

На южной стороне холма были сады и гимнасии. Источник снабжал жителей водой в изобилии. Число мужчин и женщин сохраняли постоянным, и взяты за оружие могло около двадцати тысяч человек. Воины управляли справедливо всей Элладой, и во всей Европе и Азии не было людей, более знаменитых и прославленных красотой тела и добродетелью души.

В описании Платона вполне определенно чувствуется его увлеченность государственным строем Спарты, или Лакедемона, где скромность и доблесть особенно ценились, где женщины занимались атлетикой и были неустрашимы в войне, где сохранились общие трапезы, так называемые сисситии, где воспитывали детей на общественный счет и где старейшины — эфоры ограничивали власть царей, правивших вдвоем во избежание злоупотребления властью.

Однако атланты, противники афинян, тоже были древнего рода и происходили от грозного морского бога Посейдона, сочетавшегося в любви со смертной девушкой Клейто.

Посейдон и Клейто имели пять пар сыновей-близнецов, между которыми был поделен весь остров. Родившийся первым из старшей пары близнецов стал впоследствии царем, а его братья — старейшинами, архонтами, владевшими каждый своей частью земли и народа.

Старший, Атлант, передавал царский сан по наследству, и весь народ получил наименование атлантов.

Платон с воодушевлением рисует богатство острова.

Здесь были редкие ископаемые, огромные леса, дикие животные и во множестве слоны. Земля родила пло-

ды, злаки, овощи, деревья, приносящие еду, питье и умашения.

Этот некогда священный остров поражал изобилием и красотой, рожденными щедрым солнцем. На огромной равнине, в центре ее, на холме был расположен главный город с акрополем, царским дворцом, храмом, окруженный двумя земляными и тремя водными кольцами.

Атланты провели от моря канал вплоть до крайнего водного кольца и создали гавань. Земляные кольца, разделявшие водные, были прорыты каналами, смыкавшимися с мостами такой ширины, что от одного водного кольца к другому могла пройти триера. Сверху каналов настлали перекрытия, под которыми проходили корабли. Самое большое в окружности водное кольцо имело в ширину три стадия, как и земляные кольца, следующие были в два стадия шириной и, наконец, в один стадий.

Холмистый остров в окружении этих колец имел пять стадиев в диаметре. Его оградил каменными стенами, а на мостах у проходов к морю поставили башни и ворота. Камень черный, белый и красный добывали на острове и в недрах земляных колец, а перекрыв сверху углубления каменоломен, устраивали стоянки кораблей. Стены, украшенные медью и литьем из олова, испускали огнистое блистание.

В центре холма храм Клейто и Посейдона был обнесен золотой стеной. Здесь совершались жертвоприношения. Был храм, посвященный одному Посейдону, выложенный серебром, золотом и орихалком (смесь золота и меди). Золотые изваяния Посейдона и ста нерейд на дельфинах украшали храм. Вокруг же него — статуи потомков Посейдона.

К услугам царей были два источника холодной и горячей воды. Их обнесли стенами и сделали роскошные купальни для царей, знати, простых людей, женщин, коней и подъяремных животных.

В священной роще Посейдона росли деревья неимо-

верной красоты и величины, а на земляных кольцах расположены были святилища, гимнасии, сады, ипподром, помещения для копьеносцев, а рядом верфи, наполненные триерами.

Корабли из всех стран мира шли к причалам богатейшего города. И все в этой стране было на удивление благоустроено. Ее земли были окопаны со всех сторон в виде прямоугольника и окружены громадным каналом, принимавшим в себя потоки с гор, бегущие к морю. Многочисленные каналы соединяли между собой противоположные концы равнины, и по ним сплавляли лес, а воду использовали для орошения.

У атлантов царили строго соблюдаемые законы, гражданские и военного времени. Каждый участок огромной равнины острова поставлял одного воина-предводителя (а таких участков было 60 тысяч), под начальством которых было несметное число воинов. Боевых колесниц на случай войны насчитывалось 10 тысяч, кораблей — 1200. Начальник отряда поставлял, кроме 1/6 части боевой колесницы, двух верховых коней с двумя всадниками, двухлошадную упряжку, воина с малым щитом, чтобы, сойдя с коня, биться пешим, возницу для упряжки, двух гоплитов — тяжеловооруженных воинов, двух лучников и пращников, трех камнететелей и копейщиков, четырех корабельщиков.

Если подсчитать отряды всех 60 тысяч предводителей, то все вооруженные силы атлантов насчитывали: 10 тысяч боевых колесниц, 1200 военных кораблей, 120 тысяч всадников на 120 тысячах лошадей, 60 тысяч упряжек с 60 тысячами возниц, 60 тысяч легковооруженных воинов, 120 тысяч гоплитов, 120 тысяч лучников, 120 тысяч пращников, 180 тысяч камнететелей, 180 тысяч копейщиков, 240 тысяч корабельщиков. Итак, 60 тысяч предводителей на суше вели в бой 780 тысяч воинов и 10 тысяч колесниц, не считая всадников и боевых упряжек, на море же они имели под своим нача-

лом 1200 кораблей с полной командой. Такого войска никто никогда не имел, и все трепетали перед мощью Атлантиды.

Десять царей острова правили согласно древним законам Посейдона, записанным на орихалковой стеле в храме великого бога. Именно там через каждые 5—6 лет совещались цари об общих заботах и творили суд, принося присягу. Присяга скреплялась жертвоприношением Посейдону. В святилище закалывали быка из храмового стада, и его кровь омывала стелу с законами. Суд совершался ночью, когда, погасив все огни, при свете жертвенного костра, вокруг которого в роскошных иссиня-черных одеждах восседали цари, произносили приговоры.

Единство государства поддерживалось тесным союзом десяти царей. Они не имели права воевать друг с другом и при малейшей угрозе обязывались помогать друг другу.

Могла ли долго продолжаться такая блаженная жизнь на острове, где все как будто было предусмотрено мудростью богов?

Боги предусмотрели действительно все в своем законодательстве. Они забыли только, что законы соблюдаются людьми, а атланты давно уже потеряли ту божественность своей крови, которая связывала их с Посейдоном.

Долгие годы владельцы острова презирали все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и груды сокровищ. Они не теряли власти над собой и хранили трезвость ума.

Но вот через много поколений божественная кровь в жилах царей иссякла и возобладали человеческий нрав.

Теперь жизнь властителей и их народа представляла собою постыдное зрелище.

Атланты уже не были в силах переносить собственное богатство и изобилие. Правда, чужестранцам жизнь

этого благословенного острова все еще казалась удивительно прекрасной и счастливой. А в глубине этой жизни кипела безудержная жадность и сила.

Вот тогда-то боги вновь обратили взор на свой избранный народ, но взор этот был полон гнева.

Зевс, отец всех богов, требовательно следивший за соблюдением законов, возмущился развращенностью потомков Посейдона и решил наложить на них кару. Он созвал на совет всех богов в свой великолепный дворец в средоточии мира и обратился к собравшимся с такими словами...

Здесь на самом интересном месте Платон оборвал свое сочинение. Мы так и не узнаем никогда, что за речь держал Зевс перед олимпийцами. Однако, зная дальнейшую судьбу атлантов, их дерзкое нападение на афинян и победу афинян, можно вполне предположить содержание этой речи.

Если перебрать в памяти схожие ситуации среди людей и богов, известные из античной мифологии, то картина Зевсовой кары станет вполне понятной.

Зевс не впервые наказывал людей за их нечестие. Он наслал на род человеческий потоп, от которого спаслись только двое — Девкалион и Пирра. Из камней, брошенных ими, на земле снова появились люди (Овидий, «Метаморфозы»). Впоследствии Зевс снова пытался уничтожить жалкий и несовершенный человеческий род, чтобы «насадить» новый (Эсхил, «Прометей прикованный»). Знаменитая Троянская война тоже есть следствие мольбы матери-Земли к Зевсу покарать людей за их преступления (Гомер, «Илиада»). Хорошо известно, что Зевс, по совету бога-насмешника Мома, решил уничтожить людей в междоусобной войне, то есть их же собственными руками. В Троянской войне сначала погибла сожженная греками-ахейцами Троя, а потом уже, возвращаясь на родину, там нашли смерть вожди-победители и их потомки.

Как не вспомнить здесь знаменитую речь отца богов, великого строителя мира Зевса в платоновском «Тимее», обращенную к подвластным богам. Когда мир был молод и только еще предстояло родиться первым людям, Зевс сказал: «Боги богов! Я — ваш демиург и отец вещей. Выслушайте, чему наставит вас мое слово». Мир будет незавершенным, пока не будет населен людьми. Однако если эти существа получают жизнь от самого демиурга, то они будут равны богам, чего никогда не должно произойти. Люди — не боги, они придут на землю смертными, так как их создадут потомки демиурга, объединяя смертные начала с бессмертными.

В «Тимее» торжественная речь строителя Вселенной возвещает о рождении тех, кто будет населять мир. В «Критии» Зевс готов объявить богам свое решение о предстоящей гибели атлантов.

Мы уже знаем по рассказу египетского жреца Солону («Тимей»), как обрушились атланты на эллинов и как двадцать тысяч афинян взялись за оружие, предводительствуя всей Элладой. Гордость завоевателей была сломлена, а боги завершили их поражение, наслав страшную бурю, когда морская пучина поглотила не только разбитое войско, но и всю некогда счастливую Атлантиду.

Когда мы читаем Платона, то видим, что он, находясь в плену своих утопических мечтаний и творя легенду о великом прошлом своего народа, не может оторваться от недавних побед афинян. Платон, род которого был тесно связан с историей Афин, как бы заново переживает то, о чем ему рассказывали в детстве, и то, чем восхищались поколения греков, — великой победой над персами при Марафоне (490 г.), Саламине (480 г.) и Платеях (479 г.).

Сколько раз воспевали греки эти победы маленького свободного народа над тысячами тысяч персидских завоевателей, над их бесчисленными войсками и кораблями,

угрожавшими Элладе. Стоит почитать историю Геродота или трагедию Эсхила «Персы», чтобы понять, какой подвиг совершили греческие города во главе с демократическими Афинами, выйдя с честью из многолетней войны с деспотической державой царя Ксеркса.

Легендарная победа афинян над атлантами, о которой Платон пишет во второй половине IV века до н. э., подчеркнута патриотической гордостью за реальные деяния предков, уверенностью в том, что эллины, несмотря на все испытания, выйдут победителями и в будущем.

Так, утопист, мечтатель и мифотворец Платон невольно оказывается втянутым в живую историю своего родного города, оказывается тесно связан с реальными событиями, когда снова со всех сторон Афинам и всем греческим полисам — уже в середине IV века до н. э. — угрожают враги.

Парадоксальное явление: Платон, который так активно восставал против подражательной сущности искусства и изгнал из идеального государства поэтов с их воображением и вымыслом, сам оказался прекраснейшим поэтом, мечтателем и выдумщиком, завораживающим своих слушателей магией слова.

Кон{ц Жи}нр

Пока Платон был занят мечтами о преобразовании сицилийской тирании в просвещенную монархию, пока он трижды с огромными трудами и опасностями ездил в Сиракузы, пока он собирал у себя учеников со всего известного тогда мира, писал знаменитые диалоги и создавал свою философскую систему в стенах любимой Академии, — проходила жизнь.

Жизнь эта, которая открылась Платону, встречей с Сократом, обернулась для него горькой утратой учителя, странствиями в поисках мудрости и, наконец, обретением своей собственной, выстраданной истины, найденной не в дальних странах, а у себя дома, в тихих садах Академии. И как бы ни уединялся Платон под сенью раскидистых платанов, отгоняя суету мира, жизнь неизменно втягивала философа в бурный водоворот событий, таких, какие не придумает ни один мечтатель.

События же эти были тягостными не только для Пла-

тона и его друзей. Они задевали каждого любящего свою родину честного человека. Такому человеку, да еще если он, как Платон, прожил очень долгую жизнь, стоило задуматься над превратностями судьбы и Афин и всей Греции.

Прошли те времена, когда Афины были первым полисом Греции, куда стекались деньги и богатства из всех городов и где вершилась судьба эллинских государств. Непримируемая старая вражда греческих городов-государств, соперников в экономической, политической и военной гегемонии, породившая почти тридцатилетнюю Пелопоннесскую войну, так и не затихла. С окончанием войны в 404 году все участники этой страшной междоусобицы оказались разоренными, истощенными и ослабленными. Ни Афины, ни Спарта, ни их союзники не могли оправиться от многочисленных потрясений.

На беду всем полисам, междоусобные войны то и дело вспыхивали в самом сердце Греции. Соперничали Афины, во многом потерявшие свои демократические традиции, аристократическая Спарта и Фивы, где постоянно шла борьба олигархии и демократии. Теперь Афины славилась не победами и завоеваниями, а платоновской Академией. Спарта гордилась знаменитым полководцем царем Агесилаем, а Фивы — борцами за демократию Эпаминондом и Пелопидом.

В Коринфской войне (394—387 гг.) между Спартой и Фивами союзниками фиванцев были Коринф, Аргос и Афины, так что родной город Платона был втянут снова в изнурительные военные действия.

Но и Платон оказался причастным к последствиям этой войны, когда известный афинский полководец Хабрий был обвинен в потворстве Фивам и чуть ли не в измене. В это время союзы городов менялись с непостижимой быстротой, так как в греческие дела вмешивались постоянно и персы и македонцы, сталкивая одних и мира других.

В Коринфскую войну, когда Афины помогали Фивам, Хабрий заставил отступить непобедимого спартамца Агесилая, угрожавшего фиванцам. Но прошли годы, и, когда в 366 году Афины и Фивы снова оказались во враждебных лагерях, Хабрия обвинили в измене, вспоминая его давнюю помощь фиванцам. Оратор Леодамант (а ораторы в эти годы были главными политиками) требовал для Хабрия смерти, той самой «Сократовой цикуты», которая когда-то потрясла афинян. И Платон, помня об одиночестве и беззащитности своего старого учителя Сократа, поднял голос в защиту Хабрия, заплатив долг дружбы.

Слава Платона была столь велика, что его друга миновала чаша с цикутой. Хабрий погиб за Афины в морском сражении у Хиоса в Союзническую войну (357—356 гг.). Гробница полководца находилась в ряду самых почетных по соседству с Академией, постоянно напоминая Платону о его друге и о решительном заступничестве за друга.

Бурные события за пределами Академии время от времени давали о себе знать.

Во время войны фиванцев со Спартой в битве при Левктрах (371 г.) погиб спартанский царь Клеомброт и тысяча его лучших гоплитов. Если эта битва непосредственно не отразилась на Платоне, то зато она ощутимо задела другого ученика Сократа — Ксенофонта, который после своих военных походов в Малой Азии и Греции под предводительством царя Агесилая мирно жил с женой и двумя сыновьями в Скилунте, имении, подаренном ему спартамцами. Трудом самого Ксенофонта имение было благоустроено, старательно возделано и давало хороший доход от садов и пашен, радуя рачительно-го хозяина. Он, теперь тоже старик, на покое сочинял книги о своей службе у Кира Младшего, о царе Кире Старшем, писал знаменитые воспоминания о Сократе и историю последних войн между греками. Дружба с ца-

рем Агесилаем стоила Ксенофону лишения гражданства в Афинах. Когда же спартанцы были разбиты при Левктрах, Ксенофонт вынужден был спешно переселиться в Коринф, бросив на разорение прекрасную усадьбу. Правда, в 369 году Афины вновь объединились со Спартой и Ксенофонта простили, забыв его спартанские симпатии. Но он, зная непостоянство афинян, уже не вернулся на родину.

Если старик Платон был в 362—361 годах занят сицилийскими делами и едва спас свою жизнь, то Ксенофонт, который был почти его ровесник, опять оказался свидетелем тяжелых событий на родине. В 362 году в битве при Мантинее между спартанцами и афинянами с одной стороны и фиванцами — с другой был убит сын Ксенофонта Грилл. Когда отцу пришло известие об этом событии, он совершал жертвоприношение богам и в горести снял с головы праздничный венок. Услышав, однако, от вестника о мужественной гибели сына, старик торжественно водрузил венок на голову и сказал знаменитые слова: «Я знал, что сын мой смертен».

Так ближайшие ученики Сократа, не встречаясь друг с другом десятки лет, невольно были свидетелями и даже участниками тягостных событий.

Бесконечные интриги персов сталкивали между собой греков. Разве могла забыть Персия то поражение, которое она потерпела в начале V века до н. э. от нынешних своих ненадежных союзников — греков?

На севере, у границ Фессалии, выросло и крепло новое государство — Македония. Эта некогда дикая страна, владельцы которой стремились набраться образованности и приглашали, не скупясь на милости, к своему двору выдающихся греков, в царствование Филиппа II (359—336 гг.) оказалась самым агрессивным и опасным соседом Греции.

Платон, к счастью, не дожидаясь того, как в 346 году Филипп бессовестно подкупил афинских послов; как он

вторгся через Фермопилы в сердце Греции и дотла уничтожил целую область — Фокиду, обвиненную в нарушении неприкосновенности священных Дельф; как он стал членом священного Союза городов, охранявшего земли Дельфийского оракула.

В год смерти Платона известный оратор Эсхин, глава афинского посольства, предал интересы родного города. Несмотря на обвинения Демосфена, он не только оправдался, но и возглавил в дальнейшем промакедонскую партию.

Платон, к счастью, не дожидаясь того позора, когда крупнейшие деятели греческих городов открыто высказывали идеи добровольного подчинения Филиппу. Престарелый философ уже не узнал, что друг его молодости, знаменитый оратор Исократ, не желая терпеть македонское иго, покончил с собой и что его ученики Гиперид и Демосфен отчаянно боролись с царем Филиппом. Демосфен принял яд, чтобы не попасть к врагам, а Гиперид был казнен приспешниками Филиппа.

На старости лет Платон познал драматические повороты богини Тюхэ — изменчивой Случайности, правящей миром. С горестью он узнает, что его любимого друга и ученика Диона убили афиняне — братья Каллипп и Филострат (по другим сведениям — один Каллипп), в доме которых в Афинах жил некогда Дион и вместе с которыми был посвящен в мистерии богинь, причастных к смерти и возрождению, Деметры и Керы. Гибель Диона в Сиракузах (353 г.), после его многолетней борьбы, как будто увенчавшейся наконец победой, потрясла Платона. Ведь Каллипп поклялся в храме Деметры и Керы в своей непричастности к заговору против Диона, а сам зарезал его, как жертву в праздник обеих богинь. Правда, Тюхэ повернулась спиной к убийце, и ему самому перерезали горло кинжалом, которым нанес он смертельный удар Диону. Недаром, когда эти страшные новости дошли до Афин, многие вспоминали старую поговорку: «Доблест-

ные люди в Афинах не знают себе равных в доблести, а порочные в пороке. И это так же верно, как то, что земля Аттики приносит лучший в Греции мед и сильнейший из ядов — цикуту!»

Дошли до Платона смутные сведения и о судьбе надменного тирана Дионисия. Его также бросала из стороны в сторону богиня Случая. Изгнанный из Сиракуз Дионом, он жесточайшим образом правил в итальянских Локрах и, видно по всему, забыл об уроках философии. В год смерти Платона Дионисий вернулся в Сиракузы, но Платон не узнал никогда, как через много лет этого тирана позорно выбросили из Сиракуз и он влачил жалкое существование где-то в Коринфе, зарабатывая себе на жизнь чуть ли не обучением детей (Цицерон, «Тускуланские беседы»). Какая ирония судьбы! Бывший тиран, за неимением подданных, испытывал свою власть на детях. Дионисия люди недаром считали самым убедительным примером непрочности человеческого счастья, зависящего от прихотей все той же богини Тюхэ.

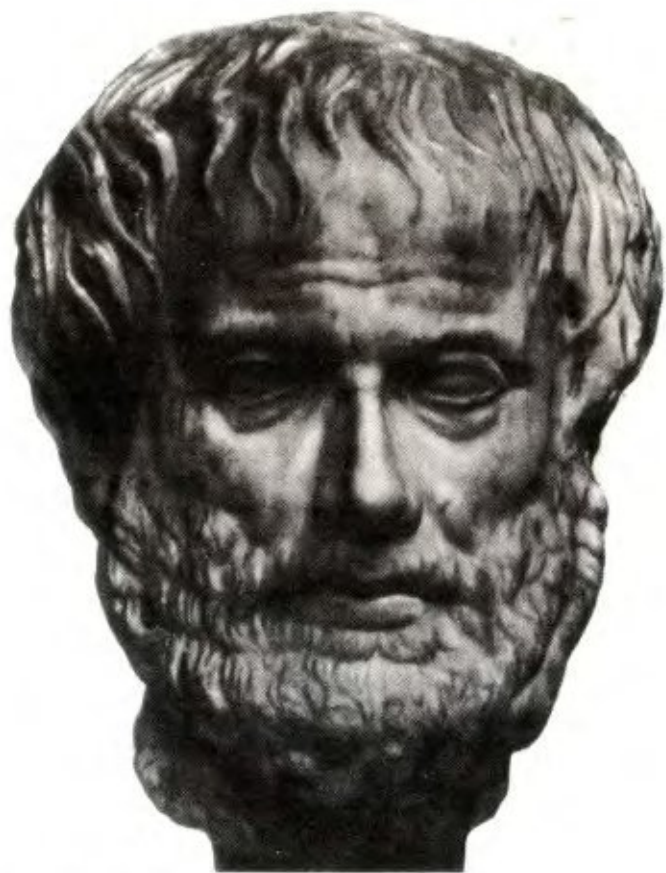
Волновала Платона судьба еще одного близкого ему человека — Аристотеля, одного из его любимых учеников. Аристотель был моложе Платона более чем на сорок лет. Семнадцатилетним юношей он явился из дальнего провинциального города Стагиры в Афины, в Академию, с жадной охотой овладеть философией.

Платон в это время отсутствовал, находясь на пути в Сицилию. Учитель познакомился с учеником только после своего возвращения в родные стены. С той поры двадцать лет, до самой смерти Платона, Аристотель был, как его называл старый философ, «умом школы» (*poys diatribès*) и лучшим «чтецом» (лектором), который имел право вести в Академии самостоятельные занятия. Аристотель был глубоко предан Платону. И хотя у него зрели замыслы собственной теории, но, как верный ученик, он так и не отважился покинуть Академию до 347 года, когда Платона не стало.

Платон умер, так и не узнав, и это, может быть, было и хорошо, что Аристотель сблизился с македонцами. Ведь его отец Никомах был давним другом македонских царей и придворным врачом отца и деда Александра Македонского. Аристотель даже использовал свое влияние, отправившись с афинским посольством к царю Филиппу, чтобы защитить от его жестокости занятые им города на своей родине в Халкидике.

Рядом с умирающим Платоном не было самого выдающегося его ученика, выполнявшего важную политическую миссию. Аристотель возвратился, когда руководство Академией уже перешло к Спевсиппу, и для Аристотеля это было началом самостоятельной жизни. Судьбе было угодно, чтобы ставшего знаменитым философа в 343 году пригласил к своему двору в Пеллу царь Филипп и поручил ему воспитание тринадцатилетнего сына Александра. В Пелле Аристотель пробыл до 335 года и только затем вернулся в Афины. К этому времени умер преемник Платона Спевсипп. Главой Академии избрали Ксенократа, давнего противника Аристотеля. И Аристотель, чувствуя себя свободным от обязательств перед памятью Платона, открыл на горе Ликабет в гимназии Ликей — свою собственную школу, ту, что потом получила название перипатетической. Там среди ликейских садов он учил в течение тринадцати лет. Как некогда Платон, Аристотель разработал свою стройную систему преподавания.

Теперь и Аристотель, как Платон, уединялся от жизни, но она властно напоминала о себе. Погиб в тюрьме, обвиненный врагами, племянник философа Каллисфен — историк деяний Александра, высказывавший эллинские патриотические идеи, чуждые македонскому духу. В 323 году неожиданно умер воспитанник Аристотеля владыка полумира Александр Македонский. Над самим главою Ликей нависла смертельная угроза. Повторялась старая, хорошо знакомая в Афинах история.



Аристотель.

Греческий портрет конца IV—III вв. до н. э.

Как некогда Сократа, теперь обвиняли в нечестии Аристотеля. Как смел он посвятить возвышенный гимн не божеству, а своему другу Гермия Атарнейскому? Ревнители благочестия в лице оратора Демофила уже готовили Аристотелю яд цикуты, но тот не был столь беззащитен, как Сократ. «Я не доставляю им удовольствия», — сказал Аристотель, тайно бежав из Афин на Эвбею. Однако силы его были подорваны, и в 322 году он скончался изгнанником.

Какие все это были беспокойные люди! Сократ стремился воспитать афинян и поплатился жизнью. Платон всю жизнь надеялся просветить тирана и преобразовать общество. Аристотель активно вмешивался в события во время македонских завоеваний и чуть не погиб от своих же сограждан-афинян. Да, сограждане отличались страшной неблагодарностью и недальновидностью.

Много воды утекло с тех пор, как Платон крепким тридцатилетним мужчиной избрал Академию своим родным домом. Воспитанный в строгости и благородной сдержанности, он с юных лет был, как рассказывали, стыдлив, не смеялся громко, держался пристойно. Это не была робость, а именно сдержанность сильного и сосредоточенного в себе человека. Он старался не приобретать привычек, хотя бы и самых безобидных. «Привычка не мелочь», — говорил Платон. Поэтому он никогда не пил без меры и не спал излишне. Зато читать и писать разрешал себе, как желала душа. Работа стала не привычкой, а жизнью. Иной раз люди докучали ему, мешая думать, и он их сторонился. Платон не любил излишне негодовать и громко выражать свои чувства. Даже когда он вспоминал убийцу Диона, то ограничился всего несколькими суровыми словами, оставив подробности и изъяснение чувств для других летописцев, которые уж постараются в будущем описать это нечестивое деяние. Гнев он считал недостатком для философа. И когда однажды разгневался на раба, то не стал его наказывать,

боясь несправедливости, а просил своего ученика Ксенократа совершить наказание.

Но когда надо было поднять свой голос против обиженных за поправленную справедливость, за утверждение истины, Платон не страшился смерти. Пострадать за свое государство было для него вполне естественно и просто. «Слаще всего говорить истину», — не раз слышали от Платона его друзья. Оставить людям хорошую о себе память было ему безразлично. И память эта была в его книгах. Ведь до последней минуты он читал и писал. В день смерти на его ложе нашли книги любимых им с юности комедиографов — афинянина Аристофана и сицилийца Софрона. Лежа в постели больной, он писал и поправлял «Государство» и «Законы». Ученики приняли из его рук экземпляр «Государства» с его собственными поправками и черновые таблички «Законов».

К людям Платон относился благожелательно и в старости стал мягче, привыкнув иметь дело с доверчивой молодежью. Ему была чужда пифагорейская надменность и преклонение перед авторитетом, когда глава философской школы «сам сказал» и никто не смеет ему противоречить. Однако, выслушивая и уважая непонимающего, он никогда не пускался, как Сократ, в беседу с любым встречным и не бродил по площадям и улицам. Зато когда он однажды шел в Олимпию на встречу с Дионом, все эллины с восхищением смотрели только на него.

Этого знаменитого человека, ставшего легендой, многие любили, и многие ему были обязаны. Вокруг всегда были друзья, и долг дружбы соблюдался твердо.

Платон был неисправимый мечтатель с доверчивой душой. Может быть, поэтому знаменитый Тимон, проклявший род человеческий и уединенно живший за стенами Афин, с презрением и ненавистью бросая камни в прохожих, устаивал разговором одного лишь Платона.

Умер Платон, по преданию, в день своего рождения, а значит, в день рождения Аполлона.

Завещание Платона оказалось крайне скромным. Выполнить его последнюю волю надлежало племяннику философа Спевсиппу и еще шести душеприказчикам.

За долгую жизнь Платон приобрел два небольших именина, одно он оставил своему ближайшему родичу Адиманту, а другое — на усмотрение друзей. Денег было всего три мины, да еще две серебряные чаши — большая и малая, золотой перстень и золотая серьга. После смерти хозяина остались четыре раба, а рабыню Артемиду он отпустил на волю по завещанию. И еще есть приписка — «долга никому не имею». Зато каменистый Эвклид так и остался должен Платону три мины.

Погребение Платона совершили в Академии. Роднее для него не было места.

Платон справедливо говорил, что страсть к славе — это последнее одеяние, которое мы сбрасываем с себя, умирая. Но эта страсть проявляется в нашей последней воле, в похоронах и надгробиях.

По свидетельству древних писателей, на гробнице философа начертали три надписи.

Первая гласила:

Знанием меры и праведным нравом отличный меж смертных

Он — божественный муж здесь погребен Аристокл.

Если кому из людей достижима великая мудрость,

Этому — более всех: зависть — ничто перед ним.

(Пер. М. Гаспарова)

Вторая:

В лоне глубоком земля сокрыла останки Платона,

Дух же бессмертный его в сонме блаженных живет.

Сын Аристана, ты знал прозренье божественной жизни,

И меж достойнейших чтим в ближней и дальней земле.

(Пер. М. Гаспарова)

И третья, как говорят, позднейшая:

Кто ты, орел, восседающий на этой гробнице, и что ты
Пламенный взор устремил к звездным чертогам богов?
Образ Платона души я, к Олимпу полет устремившей,
Тело ж земное его — в Аттике мирно лежит.

(Пер. Н. Кострова)

Почти через восемьсот лет после смерти Платона философ Олимпиодор вспоминал стихи, по преданию, выбитые на могиле Платона.

Двух Аполлон сыновей — Эскулапа родил и Платона,
Тот исцеляет тела, этот — целитель души.

(Пер. М. Гаспарова)

В Академии перс Митридат, будущий царь, воздвиг, как мы уже говорили, статую Платона с надписью: «Митридат персидский, сын Водобата, посвящает музам этот образ Платона, работу Силаниона». Филипп Македонский глубоко чтит философа. Афиняне, в свою очередь, поставили ему памятник недалеко от Академии.

Сам о себе Платон ничего не писал и упомянул себя лишь дважды — в «Апологии» и «Федоне». Но когда его спросили однажды, будут ли о нем писать, он ответил: «Было бы доброе имя, а записки найдутся».

Доброе имя Платона утвердилось на века, и римлянин Брут, убийца Цезаря, был воспитан на платоновском учении, ненавидевшем любое проявление тирании.

Платон умер, а деревья в садах Академии разрастались, и шли туда в поисках высшей мудрости люди, памятуя, что главное не просто овладеть этой мудростью, а вечно стремиться к ней.

Вечность философии



Перед нами прошла жизнь Платона, изложенная на основании фактов, собранных его почитателями и учениками, античными биографами или коллекционерами редкостей, для которых имели одинаковую ценность историческое событие, древняя легенда, афоризм великого человека или анекдот из его жизни.

Но мы не современники и не потомки Платона, жившие после него всего через каких-нибудь несколько столетий. Мы живем в конце XX века нашей эры. Почти два с половиной тысячелетия отделяют нас от эпохи греческой классики и от Платона. С этой вершины мы можем представить себе жизнь и учение великого человека далекого прошлого гораздо объективнее, более непредвзято, чем те, кто находился рядом и часто судил, движимый эмоциями, а не беспристрастным изучением фактов.

Знаменитый римский историк Тацит гордился тем, 211

что он пишет *sine ira et studio* — «без гнева и пристрастия», хотя и ему это не всегда удавалось.

5 Попробуем и мы, изучив всесторонне все, что писал сам Платон, а не только то, что писали о нем, представить 120 итог жизни и учение великого идеалиста.

4 Пусть это будет не похвальное слово, энкомий, или осудительная инвектива, которые так любили древние писатели. Истинно великий человек не боится ни «горьких осуждений, ни упойтельных похвал». Платон велик не только тем, что стоит у истоков огромного философского направления, но и своей сложностью, противоречивостью, внутренним борением с самим собой, окружающей действительностью и часто даже — со своей эпохой.

Жизнь Платона, по крайней мере на главных этапах, была трагической. Одно разочарование неизменно следовало за другим. Осуждение и смерть Сократа, по существу, разрушили в нем веру в силу разумного убеждения, а между тем Платон всю жизнь только и делал, что старался убедить людей силой слова. Едва ли это было трагедией одного лишь Платона. Еще в большей степени это было трагедией Греции конца классического периода.

Новой эпохой был эллинизм с его крупным рабовладением, с его огромными военно-монархическими империями, поглотившими старый классический полис. Платон ничего не знал о наступающей огромной эпохе. Но как и все принципиальные люди его времени, он искал выход из окружавших его социально-политических сложностей. Выходом для него оказалась утопия. Платону рисовалось идеальное государство во главе с философами, созерцателями чистых и вечных идей, которых защищают воины и которым все жизненные ресурсы доставляют свободные земледельцы и ремесленники. Но кого могла спасти в те катастрофические времена такая «идеальная» утопия?

212 Платон был убежден, что существует абсолютная истина, и весь трагизм его положения заключался в том,

что он верил в немедленное и всестороннее осуществление этой истины. Платон рассуждал приблизительно так. Начертите на песке круг. Он несовершенен и полон всяких отклонений от идеального круга. Но ведь так легко, имея перед глазами этот несовершенный круг, представлять себе идеальный круг и строить о нем точнейшую науку. Почему же этот простой метод не применить к человеческому обществу? Давайте скажем преступнику, что он — преступник, и давайте усовестим его. Он тут же и перестанет быть преступником, и на первый план выступит его идеальное человеческое поведение. Это невозможно? Но почему же это возможно с кругом, столь несовершенным начерченным на песке? Вот и попробуйте убедить Платона в том, что человеческая жизнь не есть геометрия. Он этого не понимает и не хочет понимать. В его утопии нет ни малейших сдвигов, ни малейшего развития и ровно никакого историзма, все абсолютно.

Разделение умственного и физического труда абсолютизировано и увековечено на все времена: одни только мыслят или воюют, другие только кормят. Разделение труда, преподносимое Платоном в виде абсолютной нормы, несомненно, заимствовано из практики рабовладельческой формации и доведено до степени египетского кастового строя. Созерцание же идей, являющееся профессией сословия философов, обосновано у Платона достаточно ограничено. Ибо что созерцают платоновские философы, кроме небесного свода с его вечно правильными, механически и геометрически размеренными движениями? В этой закабаленности небесным сводом, в этих общественных отношениях, строящихся по законам геометрии или астрономии, мы бы сказали, тоже отражается бесчеловечность рабовладельческой формации.

Помимо общественно-политической и вместе с тем личной для Платона трагедии погибающего полиса, он переживал еще одну трагедию, в которой сам едва ли отдавал себе отчет, но которая тоже заставляла его чув-

ствовать отчаяние и полное бессилие в итоге своего беспокойного жизненного пути. Это была трагедия всякого идеализма вообще, плохо понимающего невозможность преобразования жизни при помощи одних только идей. Платон не понимал, что материя (а значит, и социальная жизнь) определяет собой любую идеальную конструкцию. В практической деятельности это помешало ему пользоваться идеями как материальной силой и сводило его участие в политике к проповедям, увещаниям, уговорам, к призывам следовать идеалам — к красноречию. Поэтому становится понятной мучительная необходимость, с которой идеалист превращается в утописта, в мечтателя, в бессильного, хотя, может быть, и очень яркого фантазера и реставратора старины. Это было для Платона не меньшей трагедией, чем все его сицилийские неудачи.

Его пристрастие к великому прошлому Афин и к старинным доблестям имело даже положительную сторону. Платон решительно избегал всякой изысканности, изощренности и психологических тонкостей, свойственных культуре эллинизма, канун которого уже был недалеко, когда жизнь Платона клонилась к закату. Все его суждения о жизни и философии, вся проповедуемая им мораль, его утопия, эстетика, мифология и религия всегда строились у него по строгим образцам наивных и суровых классических идеалов. Как Демосфен, действовавший исключительно в области политики, трагически погиб, борясь за независимость греческих городов, так и Платон в области чистой теоретической мысли остался до конца верен строгим и суровым идеалам старой Греции, прогрессивной и демократической в духе Афин или консервативной и аристократической в спартанско-критском духе. Но пристрастие к прошлому не мешало Платону чрезвычайно любить подлинную живую жизнь. Это видно повсеместно в его художественных образах, в его философских концепциях и в фактах его биографии. Пла-

тон чужд всякого аскетизма. Он непрестанно любит красоту неба, морями и реками, платанами и цветущими вербами, красотой сильного и здорового человеческого тела, нежным обликом ранней юности. В своем самом «аскетическом» диалоге, в «Федоне», он наделил потусторонний мир всеми жизненными красками земного чувственного мира. Он вечно спорит и горячится, вечно ищет и исследует; даже и писать-то он не мог иначе, как только в форме диалога, в которой так сильно и красиво сказался драматизм его мысли. Платон завещал человечеству ненасытную жажду знания, влюбленность во все разумное и рациональное, восторг перед диалектикой, философией и вообще наукой.

Известно, какие ограничения накладывает философ на художественное творчество в своем идеальном государстве. Однако мало кто обращает внимание на слова Платона в «Законах» о том, что взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина — словом, все целиком государство должно беспрестанно петь самому себе очаровывающие песни. Игра, пение, пляски, эстетическое наслаждение — это, по мысли Платона, реальное воплощение божественных законов, так что все государство, со всеми его мирными обычаями и со всеми его войнами, есть только бесконечное художественное самоутверждение. «Надо жить играя», — говорит Платон. Однако игра уживается в платоновском государстве с жестокостью, с обожествлением законов и правителей.

Хорошо зная из своего жизненного опыта, что такое тиран, Платон нарисовал нам в VIII книге «Государства» отвратительнейший образ тирана, настолько бесчеловечный и безобразный, что, казалось бы, создатель этого образа уже нигде в своих творениях не должен был бы допустить возможности тиранической формы правления. Но вот в «Законах» опять появляется этот зловещий образ, и на этот раз Платон стремится его одухотворить. Философ восхваляет Спарту и Крит, превозносит кон-

серватизм тамошних государственных форм и их тысячелетнюю неподвижность. В «Законах» на первый план выступают не идеи, а некая внешняя сила, которая сдерживает государство от распада. Власть, как мы на это уже указывали, принадлежит совету старейшин, в распоряжении которых находятся огромные карательные возможности вплоть до смертной казни. Изображается некий полумифический законодатель, вместе с тираном осуществляющий все законодательные и исполнительные функции при полном невнимании к личности и обществу.

Религия и мораль теперь играют роль не потому, что существует вера в богов, но потому, что это предписывает закон. Если есть возможность убеждать, законодатель может убеждать людей в существовании богов. Но убеждение — это только временное средство. Необходимо, если кто-либо выкажет себя непослушным законам, одного присудить к смертной казни, другого — к побоям и тюрьме, третьего — к лишению гражданских прав, прочих же наказать отобранием имущества в казну и изгнанием. Война, которая раньше исключалась Платоном как величайшее зло, теперь выдвигается у него на первый план и неотделима от действия законов. Ничего не говорится о внутреннем преобразовании человеческого сознания, разве только о художественном творчестве, да и это последнее кропотливейшим образом регламентируется законом и должно оставаться неподвижным на все времена. Образец здесь — Египет, конечно, мнимый, поскольку в настоящем Египте была своя настоящая живая история. Платон восторженно говорит о регламентации художественного творчества в Египте, где произведения живописи или ваяния, созданные десять тысяч лет назад — «десять тысяч» не для красного словца, а в действительности, — ничуть не прекраснее и не безобразнее нынешних творений, потому что и те и другие выполнены при помощи одного и того же искусства («Законы»). И это пишет тот самый автор, который в «Пире»

создал теорию Эроса как вечного потока любви, постоянно устремленного к новому и порождающего все большую и большую красоту! В «Пире» — вечное творчество, в «Законах» — вечное повиновение законам, требующим от поэтов и художников всегда только одних и тех же форм, одних и тех же настроений.

Если в «Государстве» почти не упоминались рабы, а земледельцы и ремесленники экономически были свободны, то в «Законах» рабство пронизывает все. Хотя идеалом раба признается спартанский илот, но ведь илот — это государственный крепостной, чье социальное положение по существу мало чем отличалось от положения раба. Правда, Платон и в «Законах» все еще продолжает уговаривать господ и рабов жить согласно между собой и не нарушать общих моральных правил. Но при всех оговорках самый факт рабства признается в «Законах» открыто, и без жесточайшего рабства Платон вообще не мыслит своего идеального государства.

Эти суровые представления о неизбежности насилия оказали свое губительное влияние на Платона. Платон вдруг начинает проповедовать, что война всех против всех в самой природе общества, для которой характерны обнаженный и озлобленный инстинкт жизни и коренные противоречия как в отношении одного человека к другому, так и в отношении к самому себе. Та же вечная война существует и между отдельными людьми в доме. Все находится в войне со всеми как в общественной, так и в частной жизни, и каждый находится в войне с самим собой («Законы»).

Невозможно себе представить, чтобы такой умный человек не понимал трагедии своей жизни и мысли, когда он совершал насилие над историей в надежде вернуть ее на путь истинный с помощью жестоких законов и суровой регламентации.

Смешение прекрасного и трагического Платон еще лучше выразил в том месте своих «Законов», где в ответ

на предложение иностранных актеров поставить трагедию он считает нужным сказать, что его государство и без того есть трагедия и что граждане государства сами творцы трагедии прекраснейшей и наилучшей.

Подчинение человека в этом страшном государстве законам, не зависящим от него, а значит, и обреченность общества сказывается в знаменитом рассуждении Платона о людях-куклах, не имеющих своей воли и управляемых нитями, за которые их дергает «высшая сила».

Заметим также, что «Законы» — это единственное произведение Платона, не содержащее в себе образа Сократа. Нет здесь ни спора, ни борьбы идей, да и все утверждения собеседников прямо противоположны тому, чему учил Сократ. Сократ вечно все подвергал критике и часто двумя-тремя вопросами ниспровергал общепризнанные авторитеты, если они того заслуживали. В «Законах» же всякая критика запрещена, выдвигается требование беспрекословного подчинения законам и казни для всех неверующих. Если бы в таком государстве, какое изображено в «Законах», появился вечно вопрошающий и критикующий Сократ, то, несомненно, законодатели присудили бы его уже не просто к цыкуте, а к какой-нибудь сверхужасной казни для устрашения всех потрясателей общественных основ, представляющихся этим законодателям идеальными.

Миф о людях-куклах и характерное отсутствие Сократа в «Законах» — это у Платона и свидетельство разочарования, и несомненный акт отчаяния.

Печальный конец платоновской философии подчеркивается еще тем, что и сам Платон, и его позднейшие почитатели сравнивали его с Аполлоном — богом света, порядка, гармонии, уравновешенности как в моральном и художественном, так и в государственном и даже космическом плане. Согласно позднейшим легендам, Платон перед смертью видел себя превращенным в лебедя, эту знаменитую птицу Аполлона. Сократ, как мы помним,

перед приходом к нему Платона тоже видел во сне лебедя. Кто-то, чуть ли не племянник Платона Спевсипп, объявил его даже сыном Аполлона и братом бога врачевания Асклепия: таким образом, подчеркивалось, что Платон был врачом душ. Казалось бы, если вспомнить жестокость платоновских «Законов», это смешно. Но на самом деле это трагично.

Платон всю жизнь проповедовал всеобщую гармонию, то есть был натурой, так сказать, аполлоновского типа. Но гармония может быть разная. Одна — живая, трепещущая, она активно борется с беспорядком, с уродством, с разнузданными аффектами. Это гармония «Пира» и «Федра». Другая — основана на принуждении и насилии, чужда живых противоречий жизни. Платон не мог не понимать своего принципиального отказа от классической гармонии в жертву гармонии насилия¹. И так как здесь содержалось противоречие всей его жизни и философии, то признание такой гармонии превратилось для него в своего рода философское самоубийство.

В чем же в самом деле причина сильнейшего влияния философа и почему проблема Платона все еще волнует умы вот уже третье тысячелетие?

✓ Платон — первый в Европе последовательный представитель мировоззрения, которое мы называем объективным идеализмом, основатель этой философии. Именно этим он оказал и все еще продолжает оказывать огромное влияние на развитие философии. «Могла ли, — пишет Ленин, — устареть за две тысячи лет развития философии борьба идеализма и материализма? Тенденций или линий Платона и Демокрита в философии?» Но сильной стороной Платона, его положительным вкладом в историю философии менее всего является его объективный идеализм как мировоззрение.

¹ Греческое слово «harmonia» в его первоначальном значении — «скрепы», «связи», которыми накрепко соединяют бревна.

Сам по себе объективный идеализм Платона как античного философа исторически ограничен и даже наивен.

Однако Платону принадлежит учение о самостоятельном существовании идей как общих и родовых понятий. Мы уже видели: общее не остается у Платона лишь противостоящим единичному, оно наполняет смыслом всякую единичность. Оно — принцип единичного, закон проявления единичного, образец для его построения во всем жизненном многообразии. Не эта ли платоновская теория общего привлекала к себе философские и научно мыслящие умы? Не это ли закономерное построение и преобразование хаотической материальной действительности заставляло вновь и вновь обращаться к Платону?

Можно не верить в небесное и занебесное бытие платоновских идей, можно посмеиваться над платоновским круговоротом душ, над этим космосом, звучащим как огромный музыкальный инструмент, над наивностью математических исчислений Платона. Однако всякий непредубежденный, мыслящий философ всегда находил нечто положительное в платоновской идее как законе упорядочения бесконечных и спутанных единичностей.

В философии Платона есть и другая, не менее важная сторона. Она тоже очень прочно связана с его идеализмом, хотя отличается не столько научно-теоретическим, сколько жизненно-практическим характером.

Это то, что сейчас мы называем идейностью и необходимо во имя убеждений переделывать окружающую нас действительность. В этом смысле Платон, мечтатель и утопист, всегда был врагом самодовольных обывателей, которые уже всего достигли и которым не нужно ничего, кроме благополучия. Идейный порыв, принципы, самоотверженное служение идеалу — все это на целые тысячелетия сделало философию Платона чрезвычайно популярной, хотя конкретная оценка ее в разное время была разной, часто критической и даже осудительной.

Платон отрицал в своем идеальном государстве вся-

кое историческое развитие. Три сословия идеального государства Платона стоят перед нами, как мраморная группа фигур, обращенных одна к другой всегда в одном и том же положении. Однако и здесь была идея, которая всегда привлекала к себе самые несхожие умы и которая тоже доставила Платону непреходящую славу.

Идея эта заключалась в борьбе против изысканности и изощренности утонченного психологизма, в борьбе против философского декаданса. Платон проповедовал идеал сильного, но обязательно простого человека, в котором душевные способности не противостоят одна другой и не противостоят эгоистически действительности. Гармония личности, общества и всей окружающей человека природы — вот постоянный и неизменный идеал Платона в течение всего его творческого пути.

Напомним также о платоновской идее подчинения искусства насущным потребностям государства.

Чернышевский высоко ценил Платона за то, что он ставил жизнь выше искусства, отстаивал необходимость подчинения искусства общественному благу. Это единение с потребностями общества касается философии, религии, науки, ремесла, личной или семейной жизни. Отсутствие подобной изоляции и создает, по Платону, ту всеобщую гармонию, которая хотя и оставалась мечтой, но мечтой, с которой человечеству трудно расстаться.

Чувство реальности неотступно владело Платоном, когда он заговаривал об общих закономерностях бытия. Пусть Платон с точки зрения нашей современности неправильно понимал место общих закономерностей в реально существующем мире. Но, понимая эти общие закономерности в виде совершенного числа, он неистово восторгался реализмом арифметики и геометрии, восторженно воспевал астрономию, и небесный свод всегда был для него наивысшей мерой красоты действительности.

Когда Платон захотел очертить предмет своей эстетики, он назвал ее ни больше ни меньше, как любовью.

Платон считал, что только любовь к прекрасному открывает глаза на это прекрасное и что только понимаемое как любовь знание есть знание подлинное. В своем знании знающий как бы вступает в брак с тем, что он знает, и от этого брака возникает прекраснейшее потомство, которое именуется у людей науками и искусствами. Любящий всегда гениален, так как он открывает в предмете своей любви то, что скрыто от всякого нелюбящего. Обыватель над ним смеется. Но это свидетельствует только о бездарности обывателя. Творец в любой области, в личных отношениях, в науке, в искусстве, в общественно-политической деятельности, всегда есть любящий; только ему открыты новые идеи, которые он хочет воплотить в жизни и которые чужды нелюбящему. Можно термины Платона заменить другими, но энтузиазм Платона всегда будет вызывать восхищение и уважение.

Платон не мог выразить свою мысль в спокойной, законченной и систематической форме. Сократ и Платон все время ищут новых и новых истин, так что им некогда останавливаться на систематическом изложении. Они ставят все новые и новые вопросы и, получая на них те или иные ответы, опять-таки не удовлетворяются этими ответами и идут все дальше и дальше. Их постоянное и беспокойное искание истины исключало всякую замкнутую, застывшую систему. Недаром свой основной философский метод Платон назвал диалектическим и, как уже говорилось, первым применил термин «диалектика». Для такого неизменного драматизма мысли требовалась соответствующая литературная форма, которой и служил диалог. Диалог у Платона в конечном счете был его внутренним разговором с самим собой.

И еще одно. Думается, что читатели Платона всегда находили в его диалоге, в этом драматизме мысли, поддержку для своих философских исканий. Всякий находит здесь нечто для себя близкое. Всякий думает, что не только он один путается в своей мысли, перескакивает

с одного на другое, часто уклоняется в сторону, не может дойти до окончательного результата, но что все это свойственно и «божественному» Платону. Значит, все это допустимо, возможно и даже необходимо, если хочешь добраться до сути дела. Вечная неугомонность мысли неизменно притягивала к Платону.

Почти все крупнейшие философы нового времени дают изложение своих философских теорий в готовом и продуманном виде. Бывает не видно, как они дошли до своей системы и какие сомнения обуревали их перед ее открытием. Такую систему остается только усвоить. Совсем другое — Платон. Свои концепции он заставляет читателя продумывать так же, как их продумывал он сам. Он не скрывает своих сомнений и неуверенности, своей слабости во многих вопросах, своих тяжелых усилий понять предмет, часто беспомощных и безрезультатных. Разве это не демократизм мысли и разве могло это не быть привлекательным для многих тысяч читателей разных стран, эпох и народов?

Платон все время держит нас в напряжении. Вот-вот он скажет что-то решающее и окончательное, а он этого все не говорит и не говорит. А иной раз он одной лишь фразой сразу извлекает нас из области сомнений и смутных домыслов. Философскую систему Платона приходится восстанавливать из отдельных разрозненных и часто противоречивых суждений. Прибавьте к этому, что у Платона термины, как правило, многозначны и даже знаменитый термин «идея» имеет несколько разных значений. Платон менее всего догматичен. Его философия — это путь острейшего критицизма и никогда не кончающейся диалектики.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Истоки	5
Глава II. Вместе с Сократом	15
Глава III. Один в поисках истины	44
Глава IV. Сицилийский тиран Дионисий Стар- ший	51
Глава V. Академия	59
Глава VI. «Просвещенная» тирания Дионисия Младшего	71
Глава VII. Платон — философ высокой классики	88
Глава VIII. Что такое идеализм Платона?	100
Глава IX. Диалоги Платона — драма мысли	121
Глава X. Самоотрицание драматизма	153
Глава XI. Иллюзия действительности	159
Глава XII. Платон — мифотворец и утопист	171
Глава XIII. Конец жизни	199
Глава XIV. Вечность философии	211

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Алексей Федорович Лосев, Аза Алибековна Тахо-Годи

ПЛАТОН

ИБ № 973

Ответственный редактор И. Ф. Скороходова. Художественный редактор А. Б. Сапрыгина. Технический редактор Н. Ю. Крапоткина. Корректоры К. И. Каревская и Э. Л. Лофенфельд. Сдано в набор 13/VI 1977 г. Подписано к печати 1/XI 1977 г. Формат 70×108^{1/32}. Бум. офс. № 1. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 9,96. Тираж 75 000 экз. А09593. Заказ № 387. Цена 55 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.